Юрий Сагалович

59 ЛЕТ ЖИЗНИ В ПОДАРОК ОТ ВОЙНЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания и размышления фронтовика — пулеметчика и разведчика, прошедшего через перипетии века. Со дня Победы прошло уже шестьдесят лет. Несоответствие между этим фактом и названием книги объясняется тем, что книга вышла в свет в декабре 2004 г. Когда тебе 80, нельзя рассчитывать даже на ближайшие пять месяцев.

Made for library
LIBRUSEC

- Юрий Львович Сагалович
  - I. Предисловие
  - II. Мне восемнадцать
  - III. Как я стал разведчиком
  - IV. Зимнее наступление 1945 г
  - V. Наш военный быт
  - VI. Большая передислокация, новый участок фронта, второе ранение
  - VII. Госпиталь, весна 45-го
  - VIII. Я снова в своем полку. Заключительные бои. Победа
  - IX. Сразу после войны
  - X. Мои родители, я и Сталин
  - XI. Тридцать лет и более после Победы
  - XII. Нечто о современном
  - XIII. Тенденции
  - XIV. Заключение
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39

Юрий Львович Сагалович
59 ЛЕТ ЖИЗНИ В ПОДАРОК ОТ ВОЙНЫ

«В наше смутное время, когда рушатся «идеалы» и «идолы», когда цинизм становится образом жизни, когда протянутая рука нищенки в метро вызывает двойственное чувство, одно, хочется верить, остается незыблемым для нас.

Это память о погибших в войне и признательное уважение к живым, войну прошедшим»

(«Комсомольская правда», 25 августа 1990 г)

I. Предисловие

В последние годы можно слышать исподволь повторяющуюся фразу: «Поколение фронтовиков уходит, их становится все меньше». Чаще всего эти слова произносят с искренним сожалением, отдавая должное отцам, дедам и прадедам. И тем, кто погиб на войне, и тем, кто умер уже после войны от ран или от старости, и тем, кто еще жив.

Мне больше всего по душе страстная фраза Михаила Ульянова про нас: «Они и боялись, они и побеждали. Такого поколения больше не будет». За точность цитирования не ручаюсь. Но никакая неточность воспроизведения не сможет посеять сомнения в искренности и чистосердечии говорившего.

Бывает, что слова об уходе старых фронтовиков произносят бездумно и бесстрастно, повторяя их за другими. Бывает — по обязанности. А бывает, что либо молча, либо вслух напутствуют: «Скорее бы все передохли». Честное слово, не стоит беспокоиться. Еще совсем недавно к празднику Победы я отправлял однополчанам тридцать поздравительных открыток. Теперь — две. Кроме того, прошу принять во внимание, что сразу за одним поколением наступает очередь уходить следующему. Читайте Пушкина:

…
Увы! На жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят зреют и падут;
Другие им во след идут…
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из жизни вытеснят и нас!

(«Евгений Онегин», вторая глава, XXXVIII строфа.)

Встречалось, молодые люди с издевкой относились к боевым орденам, которые фронтовики надевают единожды в году на день

Победы. Правда, это не мешало насмешникам, отправляясь со студенческим отрядом на строительство очередного колхозного телятника, писать на спинах своей униформы «Per aspera ad astra»[1]

Я знаю людей, которые, как только заходит речь о войне, переводят беседу на свои туристские походы в надежде сравнить их с боями. И то и другое выглядит вполне по-детски. Младшие поколения стремятся принизить нравственный подвиг старших во время войны только потому, что подсознательно не могут не преклоняться перед его величием.

Спасибо и за это подсознательное…

Этот вариант книги получился после того, как печатный вариант прочитали многие мои друзья и знакомые. Один из читателей упрекнул меня в том, что я будто бы требую от нынешней молодежи помнить о Великой отечественной войне, почитать ее и ее героев, в то время как она так же далека от молодых людей, как Куликовская битва. Заметим, что для сравнения выбрано максимально отдаленное событие. Самую близкую и массовую героику с издевкой задвинули к истокам истории, лишь бы понадежнее избавиться от нее. Хотя можно было бы отправиться поближе, например, к 1612-му году, или к 1812 году. Ведь о Бородинском сражении та же молодежь вспоминает вполне благосклонно. Так в чем же дело? Память о действительно отдаленных событиях ни к чему не обязывает. Можно даже продекламировать несколько строчек из «Бородино» Лермонтова, или вспомнить замечательное стихотворение М. Цветаевой «Генералам двенадцатого года», не заботясь о том, чтобы подкрепить благодарную память действенной, реальной благодарностью к участнику событий, еще живому человеку, которого можно встретить на улице или в лифте. А вот покажешь, что ты помнишь о Великой отечественной войне и чтишь вчерашних фронтовиков… Что тогда? Сказал «а» — придется сказать и «б». Чего доброго, потянет на благодарность и на улыбку. А благодарность — удел великих душ.

К счастью отнюдь не для всей молодежи наша невиданная ранее война так же далека, как Куликовская битва. Повторюсь, самое главное состоит в том, что сравнение с Куликовской битвой — лукавство. Память о подвиге, о благородстве, о боли и страданиях — обязывает и подражать и сострадать, а потому быть обязанным отнюдь не всем нравится. Лучше не помнить и не знать — так проще жить… Потому-то и сравнивают с Куликовской битвой, что хотят задвинуть память о трагедии новейшей истории подальше от своей совести.

Кроме констатации факта, что долгая жизнь фронтовиков заканчивается, говорится еще, что весь свой уникальный опыт они унесут с собой. Пусть, дескать, они оставят его на бумаге.

Не то чтобы я так сразу и откликнулся на этот призыв. Я ведь и сам понимаю, что мне уже восемьдесят лет со всеми вытекающими из этого последствиями. А надо или не надо писать о себе, я не уверен. Но кто из пишущих настолько убедительно объяснит необходимость своей «писательской» деятельности, что ему безоговорочно поверят.

Примут уже написанное — поверят, а не примут — скажут: «Со свиным рылом — да в калашный ряд». Что поделать, пусть так и будет.

Один-два человека прочтут, и то хорошо.

Есть однако и внятное объяснение желанию написать: из каждых ста вернулись трое, и на них ложится обязанность свидетельствовать….

В этих кратких записках — несколько моих автобиографических фрагментов, сопровождаемых комментариями и оценками. И это отнюдь не только фронтовые заметки. Все вперемежку.

Отрывки, подбор которых мне трудно объяснить, расположены не в хронологическом порядке, хотя связь между ними вполне прозрачна. Как они возникали в памяти, так и ложились на бумагу. Вернее было бы писать «на экран монитора» или клавиатуру. Но уж пусть по старинке будет — на бумагу.

II. Мне восемнадцать

В самом конце 1942 г. в составе маршевой роты со станции Сурок на линии Казань — Йошкар-Ола, на верхних нарах теплушки воинского эшелона, под частый стук колес я в чине рядового отбыл на фронт. Воинские перевозки на войне дело обычное. Спи себе или поглядывай в окошко, если твое место на нарах тебе это позволяет. Ну, бывает еще политинформация, или гадания, на какой участок фронта попадем. Поэтому сообщу только самые нетривиальные черты десятидневного путешествия.

Суток через двое после Казани, рано утром, на одной из четырех станций Пенза, по которым наши вагоны всю ночь толкали туда-сюда, я проснулся от потрясающего запаха жареного мяса и сопровождающего его смрада. Это жарились кишки, добытые из вагона стоявшего рядом с нами эшелона. Незаметно для охраны сорвать пломбу с дверей вагона не составляло труда. Несколько бочек с засоленными в них кишками, предназначенными для колбасных оболочек, были вскрыты, и кишки, обернутые вокруг раскаленной «буржуйки» и дымоходной трубы до самой крыши вагона, жарились и шипели, источая аромат, про который мы давно забыли. Силуэты сидевших и стоявших «кулинаров», окружавших жаровню, мгновениями очерчивались в темноте вспышками пламени, пробивавшимися через щели и отверстия печки. Именно от кулинаров, проведших операцию «кишки», зависело, получишь ты метр обожженной требухи, или нет.

За кражу кишок нам ничего не было. А вот рядового Гайнулина за кражу пачки в десять пар валенок отправили под трибунал.

На всем пути следования нашу роту сопровождал политрук. Для поднятия воинского духа он все время обещал скорую горячую пищу. На коротких стоянках он, человечек маленького роста, быстро бежал вдоль вагонов эшелона и справлялся, все ли в порядке. В ответ ему из вагонов кричали хором: «Когда будет горячая пища?!» Иногда ничего не кричали, а услышав его приближение, пускали струю, слегка отодвинув вагонную дверь. Он всегда ловко от нее увертывался. И хотя он понимал, что струя предназначена именно ему, формально претензий по поводу неуважения к своей персоне предъявить не мог: означенный способ отправления естественной нужды в условиях коротких стоянок был законным и единственно возможным.

На продпунктах крупных станций не чаще раза в двое суток нас действительно кормили горячей пищей. Кормежка могла

прийтись и на ночь. Это было в порядке вещей. Организация была идеальной. Вот из столовой продпункта выходит рота другого эшелона, ее уже накормили. Раздается команда: «Рота, справа по два, в помещение шагом марш!» Мы вваливаемся с мороза, с привычной сноровкой занимаем места по десять за дощатый стол. Через минуту мелькают бачки с супом и кашей, делят хлеб. На все про все — пятнадцать минут. «Встать! Выходи!» Нас ждет следующая рота. Пар нашего и ее дыхания на две-три минуты сливается. Две роты расходятся в противоположных направлениях, и нам навстречу идет очередная клиентура продпункта в две-три сотни одинаково одетых наших сверстников.

В Ртищеве скопилось много эшелонов. Скорого отправления не предвиделось, и, отлучаясь от эшелона, мы не боялись отстать. А отставание квалифицировалось как дезертирство. Бродя по путям, мы наткнулись на вагон без дверей. Его заполняли замороженные трупы пленных.

Замечательная удача — это прибывающий эшелон платформ с сахарной свеклой. Надо было успеть за время его стоянки сбросить с него как можно больше свеклы. Случалось, «свекольник» трогался. Тогда мы сбрасывали свеклу до самого крайнего момента, пока еще можно было спрыгнуть на ходу. Потом, возвращаясь к своим вагонам, собирали свеклу. Запеченная на «буржуйке», она была сытным лакомством.

После Балашова, где нас пересадили в огромные пульмана, эшелон шел как курьерский. Не успели оглянуться, как в Поворино сменили бригаду, и мы помчались дальше. Топлива для печек не было. Холод лютый. На короткой остановке раздают сухари, селедку и по стакану пшена. Варить его не на чем. Помялись, помялись, переглянулись, да и съели сырым.

Вдоль железнодорожного полотна тянется непрерывный забор из деревянных щитов, ограждающих полотно от снежных заносов Эх, утащить бы пару щитов на дровишки и обогреться! Но об этом и думать не моги. Такой поступок расценивается однозначно: диверсия ради срыва военных сообщений со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В пути, с приближением к фронту, который ассоциировался отнюдь не с праздником и вечеринкой, а с надвигавшимся чем-то страшным, так или иначе все навязчивее подкрадывалась мысль: «Убьют?» Никто не проронил по этому поводу ни слова. Надо всем господствовали сто раз повторенные и затверженные слова из «Боевого устава пехоты»: «Бой есть самое суровое испытание физических и моральных качеств бойца. Часто в бой приходится вступать после утомительного марша, днем и ночью, в зной и

стужу….» И ты обязан быть смелым воином. И ты знаешь это, и не имеешь права разбавлять свои моральные качества некстати возникающими мыслями. И ты принял присягу, и ты поклялся «защищать свою Родину, Союз Советских Социалистических Республик, мужественно и умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни». И если ты по злому умыслу нарушишь эту свою торжественную клятву, то пусть тебя «постигнет суровая кара советского закона, всеобщее презрение и ненависть трудящихся». Вот через какой нравственный барьер прорывались нежеланные мысли. Так что же это? Ты боишься, не убьют ли тебя… Боишься расстаться с жизнью? А как же с твоей готовностью отдать ее за Родину?! Ты что, трус? Никоим образом! И ты снимаешь это чудовищное противоречие категорическим и уверенным ответом самому себе: «Меня не убьют! Не могут убить!» И так утверждали не только те, кто остался в живых, но и те, кто потом был убит.

Высказывание вслух о твоей личной возможной смерти исключалось. Его бы и расценили, как трусость. Мог выдать только какой-нибудь грустный напев себе под нос, случайно перехваченный взгляд, да вдруг не к месту бесшабашная песня: «Эх, загулял, загулял парень молодой, молодой, в красной рубашоночке, фартовенький такой!» Разумеется, никакие такие логически выстроенные формулировки даже и в голову не приходили, но именно к ним сводился рой разрозненных, иногда вовсе и не фиксировавшихся мыслей.

Какое бы то ни было недовольство проявлялось только на самом низком житейском уровне. Например, когда твоя пайка показалась тебе меньше, чем у другого. Или если тебя сменили с поста позднее, чем полагалось.

Срочная разгрузка на станции Филоново, и длительный марш только по ночам по грейдеру, обозначенному вехами с пучками соломы на верхушках.

Колонна длинная, всю ее впереди не видно. Перед глазами спины и тощие вещмешки, мерное покачивание шапок-ушанок, да слышен скрип снега под валенками.

Молчание, разговоров не слышно, редко перебрасываются одним-двумя словами. Марш долгий, идти трудно. Вдруг замечаешь, как идущего перед тобой повело-повело куда-то в сторону: спит. А то и тебя одернут: и ты заснул.

Позади колонны идут несколько сержантов. Это замыкающие, которые помогают выбившимся из сил.

Днем отогреваемся и отсыпаемся возле теплых «грубок» в хуторских домишках. Сколько войск уже успело прошагать через

эти хутора… Хозяйки и дети к ежедневно меняющимся постояльцам привыкли. Иногда угощают какой-нибудь немудрящей едой, мы не отказываемся, а детишкам перепадает сахарку. С наступлением сумерек доносится команда «выходи строиться». Повторяется ночной марш.

В станице Алексеевской маршевую роту сдали фронту. Пока сдавали — кормежки не было. В хуторах на Хопре и его притоке Бузулук кто на что выменивали тыкву и мороженную рыбу.

Снова марш, то пешим строем, то на ЗИСах без всяких тентов и скамеек. Вповалку на соломе. Станицы Еланская, Боковская, Глубокая… Мы — пополнение 1-го гвардейского мотомеханизированного корпуса (командир генерал-майор Руссиянов).

Я стал вторым номером расчета пулемета «Максим» первого взвода пулеметной роты второго батальона второй бригады (командир роты — ст. лейтенант Феоктистов, командира батальона не помню, командир бригады — подполковник Худяков).

Принимая нас, командир роты с изумлением спросил: «Что же вы такие подзамороенные? Старшина, кормить!»

Надо сказать, что прибыли мы на пополнение корпуса ночью и расположились в огромном амбаре, наполненном початками кукурузы. До распределения по подразделениям поджаривали початки на огне. На короткое время они становились мягче и съедобней. Одновременно очищали от ржавчины розданные нам винтовки: их прежние владельцы выбыли из части по ранению или погибли.

Через пару дней в январе 1943 года из района трех небольших хуторов — Верхние, Средние и Нижние Грачики — 1-й гвардейский мотомеханизированный корпус по льду с полыньями от разрывов снарядов форсировал р. Северский Донец и овладел на ее высоком и довольно крутом правом берегу станицей Большой Суходол, что в полусотне километрах восточнее Ворошиловграда.

Почти весь день после боя по форсированию, за исключением времени чистки пулемета, я вспоминаю как мое личное непрерывное маневрирование, заключавшееся в том, что, следя за направлением пикирования «юнкерсов», я переваливался с одной стороны приземистой известняковой ограды, так свойственной тем местам, на другую, надеясь спастись от авиабомб. Надо сказать, что кроме этих оград, в Большом Суходоле, почти ничего не осталось. Помню только оббитую со всех сторон одиноко торчавшую колокольню.

Каким-то образом я оказался в паре десятков метров от огневой позиции «зенитки». Будучи единственным средством прикрытия пехоты от вражеской авиации, она была одной из главных целей немецкой бомбежки. Перед моими глазами — взрыв бомбы на позиции, крик, и санитарка, одна рука которой удерживает откинутую голову молодого парня с побледневшим лицом, а другая эту голову бинтует.

Время от времени наведывается «рама». Так мы называли двухфюзеляжный самолет-разведчик, предназначенный для стерео-аэро-фотосъемки. Это была азбука: через полчаса после «рамы» жди налета и бомбежки.

Не было отдано ни одного приказания, горячей пищей даже не пахло. Последнее не было неожиданным, а наоборот, легко объяснялось. Накануне, за несколько часов до боя нам выдали сухой паек — НЗ: буханка мерзлого хлеба, пара селедок и щепоть сахара. Приказано не прикасаться. Разложив еле тлеющий костерк, мы сидели вокруг него всем взводом. Пришел политрук роты и поздравил нас с тем, что мы начинаем освобождать Украину. Он ушел, а взводный, который был на год старше меня (его фамилии я не помню), развязав свой вещмешок, чего-то там отщипнул и отправил в рот. Этого было достаточно, чтобы приказ о неприкосновенности неприкосновенного запаса был немедленно забыт, а сам запас — уничтожен. И есть хотелось, и сама мысль, что через несколько часов убьют, а НЗ так и останется лежать в мешке, не давала покоя и была настолько логична, что никакая воинская дисциплина не могла с ней тягаться.

Все-таки кое-какую еду взамен НЗ в Суходоле раздобыть удалось. В заброшенной землянке я наткнулся на бочку соленых бурых помидоров и корыто квашеной капусты.

К вечеру появились признаки организованного начала. Нас собрали, построили и объявили приказ: 1-й гвардейский мотомеханизированный корпус вводится в прорыв и ударом с севера на юг овладевает городом Ростов-на-Дону.

Я был всего-навсего рядовым пулеметчиком, но хорошо помня географическую карту, недоумевал, как можно корпусом наносить удар с севера на юг вдоль фронта по тылам противника с задачей преодолеть расстояние около двухсот километров. Разумеется, я ни с кем не делился своими мыслями. Мне это не полагалось.

Мы двигались всю ночь, преимущественно по балкам, часто останавливаясь на то время, пока разведка не доложит, что можно продолжать движение. Команды отдавались только вполголоса. «Стой!» — Все валимся на снег, плотно прижавшись

друг к другу, и немедленно засыпаем. Куча мала. Хуже всего тем, кто с краю. Тем, кто в самом низу — тяжко, но тепло. Идеального положения нет, но об этом никто не думает. Только спать… Здесь следует заметить, что для сна на снегу мы были вполне приспособлены. При отправке на фронт маршевой ротой из запасного полка мы были обмундированы как нельзя лучше. Действительно: шинель, телогрейка, ватные брюки, валенки, шапка, подшлемник, две пары теплых рукавиц, новые хлопчатобумажные гимнастерка и брюки, две пары нательного белья, пара теплого белья, три пары портянок. Кроме того, на случай оттепели или, тем более, прихода весны у нас были ботинки и обмотки. Рано или поздно весна, конечно, наступит. Вопрос, наступит ли она для тебя? Справедливости ради надо признать, что в связи с ранними морозами ботинки и обмотки за дальностью перспективы их использования были обменены на еду еще по пути на фронт у крестьянок на пристанционных базарчиках. Это были, главным образом, крупные ржаные пироги с картошкой.

«Вста-а-а-ть!», — слышится сквозь сон приглушенная команда. Ничего не понимая, еле расправляя скованные, затекшие члены, чувствуя дикий ночной холод, пошатываясь и продолжая дремать, автоматически подчиняешься команде. «Продолжать движение!»

Продолжается и движение и сон на ходу. Так всю ночь. Пулеметы «максим» укреплены на лыжах. Тащим их какими-то рывками, и только эти рывки выводят из состояния безразличия от усталости и полусна.

Какой бы долгой ни была ночь, начинает светать. Внезапно появляются кухни. Это уже потом я прочитал у А. Т. Твардовского:

> Умный — что ни говори —
> Был старик тот самый,
> Что придумал суп варить
> На колесах прямо.

А к тому утру никакой общественной оценки факта доставки нам еды на колесах я еще не сформулировал. Все твое существо устремлено к одной точке: кухня и испускаемый ею запах пшенного супа с тушенкой. (В то время аббревиатура ППС расшифровывалась и как «полевая почтовая станция», и как «постоянный пшенный суп».) Выясняется, что моя деревянная ложка, хранившаяся, как полагается, за голенищем в валенке, расщепилась пополам. Это и плохо, почти катастрофа, но,

оказывается, и хорошо: мой напарник по котелку (котелок — один на двоих) вообще лишился ложки. У нас каждому по половинке. Едим, как тот журавль в гостях у лисы. Торопят, не успели раздать, как уже команда: «Заканчивай!» Где там заканчивай, когда и в час по чайной ложке не получается. Пробуем по очереди пить жижу, но горячо. И парадокс! пить — горячо, а при медленной еде — суп замерзает.

Уже на ходу пытаемся выскребывать из котелка куски супа. Появляется морозное солнце, а с ним «юнкерсы», которые при полнейшем и безраздельном господстве в воздухе устраивают свою «карусель», поливают нас огнем как хотят. Через час от нашей артиллерии ничего не остается. Она стала главной добычей немцев. Теперь они могут не беспокоиться.

А мы и без артиллерии, с одними ружьями и пулеметами (что нам, в самом деле!) продолжаем движение на Ростов, до которого остались те же почти двести километров минус одна ночь медленного марша по тылам противника. Ну не нелепость ли!? За день было еще несколько авианалетов, но вскоре стемнело, и все затихло.

Ночь прошла в неглубоком овраге на оставленной немцами позиции артбатареи. Снарядные ящики, здоровенная куча замерзшей и окаменевшей картошки, разбросанные дополнительные пороховые заряды в шелковых пакетах — все это наш трофей. Спим, варим картошку, жрем ее мороженую, сладкую. Кто поопытней и не ленив, пытается сушить на морозе у костра портянки и валенки. Другие — лишь бы поесть и поспать, сколько удастся. Некоторые командиры шипят: «Погасить костры». Но команда либо выполняется нехотя, либо не выполняется вовсе. Во-первых, это не костры, а костерочки, во-вторых, они все-таки спрятаны в овраге. Все понимают, что даже если костры и демаскируют, то немцам на них наплевать, так как они и без костров точно знают, где мы. Об этом свидетельствует весь опыт прошедших суток. А что командиры? Пошипят, пошипят — и сами к костру.

Последний раз наш «максим» вел огонь на форсировании Сев. Донца. Во время атаки мы били с левого берега поверх голов атакующих. Сразу за ними переправились и мы. После этого за двое суток с небольшим мы не дали ни одной очереди. Пулеметные ленты нетронутые лежат в коробках. О них никто не беспокоится. С рассветом начинаем «наступать». Команда: «Батальо-о-он, в цепь!» Никакой артподдержки, движемся на станицу Верхнедуванная.

«Воздух!» Обычно по такой команде следует прятаться в какое-нибудь укрытие. Но таковых здесь нет. Только девственно

чистое, белое, снежное поле, сверкающее солнце на совершенно безоблачном небе. Низко летящие самолеты опять устраивают свою «карусель», т. е. один за другим «отваливают» от своего строя, поливают пулеметным огнем и высыпают на нас, как горох из мешка, нет, не бомбы, а гранаты. Сотнями! Они разрываются массой громовой дроби. Щелканье осколков то по щиту, то по коробу пулемета, который рядом со мной. Крики, стоны. «Ма-а-ма!» Близкий разрыв… Глазом влево — убитый. Вправо — убитый. Ну, сейчас… Только бы вжаться в снег. Все летит на тебя. Полная беззащитность. Как бы пригодились те загородки в Суходоле, сложенные из известняка!

Ни чувства, ни мысли описать невозможно. И не только потому, что «мысль изреченная есть ложь». Мыслей нет, сплошная мешанина. Запах пороха и крови. Животный страх неминуемой смерти, от которой нет спасения. Сколько смертей было рядом со мной и слева, и справа, и в этот раз, и раньше, и потом! Любой оставшийся в живых по гроб в долгу у тех, кто погиб рядом с ним, хотя каждый понимает, что виновен во всем только случай. Но ведь ясно, что если не попало в меня, то попало в другого, и наоборот, в меня не попало именно потому, что попало в другого. Как связать одно с другим? Молился кто-нибудь, чтобы не попало ни в кого? В таком-то аду! Немыслимо! А так, если и молился, то только за себя, а значит, волей-неволей, против другого.

Пожалуй, ближе всего у Твардовского:

Я знаю, никакой моей вины,
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они
— Кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том,
Но все же, все же, все же…

Да я-то, рядовой, кого мог сберечь?.. Случай ли не случай, а погиб он, а не ты. Живи и радуйся, но помни…

Сейчас я представляю себе, какое бы впечатление в мирные дни произвело на меня то заснеженное поле и то чистое небо в то солнечное утро! Восхищение и радость! Но при сравнении, пожалуй, осталась единственная деталь, которая была бы инвариантом в тогдашней и теперешней картине того утра — это искрящийся снег перед тупыми носами моих подшитых валенок: я видел только это, согнувшись под тяжестью пулемета. Иногда ухватывал горсть снега, и — в рот.

Между прочим, описываемые события имели место на исходе пятого года маминого восьмилетнего лагерного срока, полученного ею, как ЧСИР[2] от Особого совещания НКВД. Одно время мама работала в лагере в сапожной мастерской. Она говорила мне через несколько лет, что в общем числе починенной обуви подшила пятьсот пар валенок. Может быть, и мои были из-под ее рук… А ведь, это тоже один ручеек в общем потоке «тыл — фронту».

Когда я, странным образом оставшийся живым и невредимым, покидая поле, оглянулся на него поля уже не было. Было нечто черное из сотен воронок и мертвых тел.

«Юнкерсы» улетели. Вернулась жизнь. Кстати, были это «юнкерсы» или «фоккеры», я не уверен. Не очень-то я в этом разбирался. Торопимся, занимаем оборону по обоим краям длинного разветвленного оврага, протянувшегося от окраины Верхнедуванной до железной дороги. Ее мы пересекли еще до полудня, уцелев под ударами авиации. Старшина роты, шустрый и расторопный, набирает команду — с термосами за едой. Успеваем подкрепиться, когда слышатся крики: «Танки!» Они медленно движутся именно со стороны той самой железной дороги, которую мы прошли часа два тому назад. Иначе говоря, немцы дали нам расположиться в овраге и заперли в нем. Танки идут вдоль обеих сторон оврага на расстоянии не ближе ста метров. Ни артиллерии, ни противотанковых ружей во всей второй бригаде нет. Все уничтожено немцами еще вчера. Гранату или бутылку[3] не добросить. Бить из пулеметов — бесполезно. А они расстреливают нас беспощадно и безнаказанно. Черные зловещие силуэты, кресты, выбрасывающие огонь пушки и пулеметы. Перед глазами у меня до сих пор вертящиеся волчком на снежном насте, не попавшие ни в какую цель горящие пули. Горели они на самом деле или нет, я не знаю. Но впечатление именно такое. Может быть, это догорала трассирующая смесь. По боевому уставу пехоты полагалось ружейно-пулеметным огнем отсекать пехоту от танков. Здесь же отсекать было некого. Танки шли без пехоты.

Наш пулемет замаскирован кальсонами на кожухе и рубахой на щите. Немцы его не замечают. Нам бы и молчать, но мой первый номер Чистяков не выдерживает и дает бессмысленную очередь по ближайшему танку. Через несколько секунд — Чистяков убит, кожух со стволом разбит.

Эх, кожух, короб, рама, шатун с мотылем,
Возвратная пружина, приемник с ползуном,

— это слова из песни про «Максим», которую мы распевали в строю в запасном полку. Я опять уцелел.

Во взводе осталось два расчета по разные стороны оврага. Взводный, младший лейтенант (с одним кубарем в петлице), после гибели моего первого номера и пулемета назначает меня своим связным. Лежим втроем почти рядом, взводный, помкомвзвода, который следил за дисциплиной, и я. Наблюдаем за танками. Укрытие у нас естественное. Берег оврага надежен, и хотя пули визжат, в нас они не попадают. Глаза выглядывают, и ничего, кроме наших замаскированных шапок над снегом не возвышается.

И тут происходит следующее. Взводный решил проверить пулеметный расчет на другом берегу оврага. Для этого надо перебежать по дну оврага метров двадцать. Овраг в этом месте не очень глубок и так изгибается, что дно простреливается танками. Взводный побежал: «Связной, за мной!»

Ой, как не хочется покидать укрытие и лезть под огонь. Я начинаю сползать по снежному склону берега. Помкомвзвода, отработавший до автоматизма исполнение приказа «Ни шагу назад», приняв меня за беглеца (а убегать-то некуда!), немедленно направляет на меня ППШ[4] в готовности разрядить в меня часть диска. Доли секунды, и он соображает, что я не покидаю позицию, а выполняю приказ взводного следовать за ним. Надо сказать, что автомат был только у помкомвзвода. У остальных — винтовки.

Понемногу бой смещается к станице, которая горит. Танки проходят мимо. Уже на другом берегу оврага взводный приказывает мне остаться у пулемета, сам исчезает, а в это время появляется санитар — с лошадью, впряженной в широкую волокушу. Он собирает раненых. Увидев меня, санитар кричит: «Вытаскивай!» Я вижу, кого он имеет в виду, и начинаю тащить раненого из оврага по недлинному отрожку с глубоченным снегом. Куда он ранен, мне не разобрать, тащу с трудом, утопая в снегу. Надо только представить, что это за труд. Получается медленно, взмок, мне не удается ни капли передохнуть, но когда я все же позволяю себе это на одно мгновение, вдруг откуда ни возьмись, вырастает фигура ротного Феоктистова. Он набрасывается на меня с матом, тащи, дескать, быстрей. Вытащил, уложили на волокушу, и в начинающиеся сумерки ездовой торопит коня.

Я же остался один и без всякого дела. Вдруг из-за кустарника появляется взводный с группой бойцов, приказывает мне взгромоздить на себя оставшийся от разбитого пулемета станок и присоединиться к его группе, в которой не все мне знакомы. «Кто

бросит матчасть — расстреляю», — а станок — 36 кг. Под покровом наступающей ночи мы начинаем драпать. Я покорно тащусь вместе со всеми, не сомневаясь, что взводный знает, куда надо двигаться. Через какое-то время то ли мы присоединяемся к другой группе, то ли она к нам, и драпаем, драпаем, драпаем…. жалкие остатки второй бригады, только двое суток тому назад собиравшейся освобождать Ростов, который был в двух сотнях километров от нас. Кстати сказать, Ростов был освобожден только через две недели, 14 февраля, войсками совсем другого фронта.

Взводный сам почувствовал, когда можно и нужно было устроить привал. Привалились к огромной скирде среди чистой степи. Звезды — как лампы. Слышу: «Связной, давай котелок». — «Какой котелок?» — «Сожрал?!» Он меня с кем-то спутал. Так бы мы и препирались, но ночь просекают снопы трассирующих пуль. Небывалый случай! — Ночное танковое преследование. Танки идут очень медленно, но ведь быстрей, чем мы, пешие! Они долго гнали нас, подстегивая огнем. Светящиеся пулеметные трассы то и дело просекают темень. Настала моя очередь. Ранен и брошен своими среди бурьяна. Лежу ничком, прижатый проклятым станком. Лязгает и ползет прямо на меня. Сейчас — все. В лепешку. Но ведь в данный момент я пишу это «все», значит, я жив. А жив и пишу потому, что это чудовище развернулось прямо возле меня, засыпав мерзлыми комьями земли и снегом. Образовавшееся «одеяло» спасло меня от замерзания.

Чудовище ушло куда-то в сторону. По-видимому, это было уже неподалеку от наших исходных позиций, откуда мы начали «наступление» на Ростов. Утром меня подобрали санитары из другой части, а из своей — прислали домой похоронку, в которой говорилось, что я погиб смертью храбрых и похоронен на хуторе близ Ворошиловграда. Станок «максима», который измучил меня до изнеможения, был с меня снят и остался лежать в бурьяне украинской степи.

Только через месяц после похоронки пришло мое письмо из госпиталя.[5]

Медсанбат, палатку рвет ветер, бомбовые налеты. На пути в полевой госпиталь — еще несколько налетов. Измучен и бомбежкой, и болью, и тряской на дне кузова грузовика. Но главное — это то, что тебя увозят из этого ада. И никаких жалоб на «дискомфорт», такие «нежности» даже в голову не могли придти.

Между прочим, когда меня подобрали, то, укладывая в полуторку, поленились открыть ее борт. Результатом чего был возглас того, на которого я свалился: «Ты что, б…, прыгаешь!» Откуда-то нашлись силы, чтобы внутренне рассмеяться.

Впереди у меня была полугодовая счастливая жизнь, сначала на вшивой соломе полевого госпиталя на станции Тарасовка, что между Глубокой и Миллеровым. Затем почти через два месяца Сердобск, затем Башмаково и Земетчино, — все в Пензенской области, которая с тех пор стала для меня почти родной.[6]

Госпитальная жизнь? На чистых простынях с регулярной едой (зачастую с добавкой), без бомбежек и обстрелов. Гипс и операции — не в счет. Кто упрекнет меня в том, что я откровенно радовался госпиталю, а не переднему краю?

И кто объяснит мне, по чьей безмозглости был элементарно разгромлен целый мехкорпус, нацеливавшийся на Ростов из-под Ворошиловграда? И кто объяснит мне, чья глупая и тупая воля толкала целый корпус с одним только стрелковым оружием, лишенный всей артиллерии, т. е. фактически полностью обезоруженный, на неминуемый разгром?! Рядовому нельзя обсуждать приказы, тем более, приказы не взводного, а какого-то недосягаемого для меня начальства. Я и сейчас в звании подполковника запаса[7] испытываю смутное остаточное чувство («На кого голос повышаешь… туды твою, растуды!»), развенчивая тот идиотизм. Но ведь ни у кого в мемуарах наших маршалов этот эпизод не упомянут. Значит, такой эпизод был в порядке вещей. Нет и признаков угрызения совести. Так, пустячок. Значит, это мое дело! Тем более что, я уверен, мы все одинаково оценивали происходившее. Образно выражаясь, корпус планомерно и неуклонно втягивался в зев гидры, которая и сожрала его.

А ведь все рассказанное происходило как раз одновременно с заключительными боями в Сталинграде, а мое ранение 2 февраля в точности совпало с официальным окончанием битвы на Волге.

Через год я узнал, что судя по названиям Верхнедуванная и Большой Суходол, промелькнувшим у Фадеева в «Молодой гвардии», описываемые события имели место в тех же местах и в то же время, где и когда Краснодонцев бросили в шахту.

Не могу удержаться, чтобы не рассказать о полевом госпитале на станции Тарасовка. Он располагался в постройках совхоза, главным образом в бараках, жителей не было. Я не оговорился, когда солому, на которой мы лежали (чистые простыни — это потом, в тылу) вповалку, назвал вшивой. Я убивал вшей сотнями, кроме тех, что заползали под гипс. И пишу об этом не для того, чтобы намеренно сгустить краски, или разжалобить читателя, или укорить медсанслужбу фронта. Она заслуживает восхищения. Таковы были условия. Если верно утверждение «Враг был силен, тем больше наша слава» (К. Симонов), значит, верно и то, что само преодоление тяжелейших условий жизни тоже было

подвигом. Куда же деваться, если потери несем, и раненых надо где-то спасать. Эвакуация невозможна, так как железная дорога Воронеж — Ростов разрушена. В палате, если так можно назвать пустую комнату, нас человек двадцать. Лежим головами к противоположным стенам. Посреди палаты узкий проход. С наступлением темноты зажигается крохотная плошка. Ни «уток» ни «суден» нет. Их заменяют консервные банки и ведра. Сестер нет. Их заменяют санитары из начинающих поправляться раненых. Пищу приносят в бачках и тут же разливают, раскладывают по котелкам и банкам.

Обсуждать невыносимые условия никому не приходит в голову. Да это только теперь их можно назвать невыносимыми. Тогда их выносили безропотно. Днем вся речь — только двух типов: жалобы на боль и призыв «санитар! банку!». Перед ночью к двум означенным темам добавляются воспоминания о боях. Лексика того языка, на котором ведутся рассказы, всего слов на пять-шесть богаче, чем язык, предложенный Ф. М. Достоевским в «Дневнике писателя», и состоявший, как мы помним, из одного весьма короткого односложного слова. То есть, в нашем госпитальном языке шесть-семь слов.

Типичная фраза: «Слышу, б…, летят. Ну я, б…, думаю, а он х…к, х…к, и все. Потом, как е…л! Ну, б…!» — всем все было понятно. Рассказчик угадывается по голосу и направлению, откуда идет вещание. Слушаем, не перебивая, а солируем по очереди.

Потом началась дезинфекция, прожарка обмундирования, мытье. Потом я вдвоем с одним «ходячим» оказался в малюсенькой пустой совхозной квартирке. Пока мой ходячий уходил на прогулки, промысел (Какой? А какой угодно, что попадется) и на кухню за официальной пищей, я занимался другим делом. С трудом передвигаясь с помощью костыля и палки, я обнаружил в одном углу комнаты мешок с фасолью. Сосед добывал дрова и уголь, приносил воду, а я в его отсутствие варил фасоль. Вкусно и сытно.

В один из дней немцы подвергли сильной бомбежке Миллерово в двадцати километрах севернее Тарасовки. Земля и стекла дрожали целый час, а столбы дыма занимали полнеба и были так высоки, что казалось все происходит рядом, за холмом.

Возвратившимся хозяевам квартирки немного фасоли еще осталось, а нас вернули в прежнюю палату, где на полу уже были приготовлены набитые соломой тюфяки. К концу марта, когда железную дорогу восстановили, нас погрузили в теплушки. Нары были только нижние. На них тюфяки, простыни (!) и одеяла. Приятно постукивало и покачивало. Ощущалось надежное

умиротворяющее движение от фронта.

Комфорт необычайный. Мы ехали на северо-восток, как потом оказалось, в Сердобск. В Черткове состав стоял дольше обычного, и к нашему эшелону подходили солдатики и офицеры. Мы впервые увидели погоны и не только полевые, под цвет одежды, но и (совсем в диковинку!) повседневные, «золотые». Введены они были месяцев за пять до этого, но на фронт еще не дошли.

Я вспоминаю выгрузку из санитарного поезда в Сердобске. Это было то ли в самом конце марта, то ли в самом начале апреля. Состав стоял отнюдь не у перрона, а возле непролазной весенней грязи, да еще под моросящим дождем. Спустившись на костылях по дощатому настилу с набитыми на него поперечными брусьями, я оказался посреди жижи. Валенок прогрузился в нее по щиколотку. Другая нога навесу. Да не к тому я вовсе, чтобы разжалобить читателя картиной такой беспомощности! А к тому, что увидев меня, ко мне бросилась местная крестьянка и плача навзрыд, вся в слезах, пренебрегая этой самой грязью, стала помогать мне выбраться из нее.

А другие, тоже в слезах, сокрушались: «Совсем мальчонки!»

В сердобском госпитале мне было хорошо. Я поправлялся. Физкультурная сестра (по разработке суставов) приносила мне из своей домашней библиотеки книжки, главным образом, И. А. Гончарова. Кроме тех, что «проходят» в школе (три «О»), я прочитал «Фрегат Паллада», «Превратность судьбы», «Слуги старого века», «Миллион терзаний».

Разных эпизодов военного времени у меня много, как и полагается не только бывшему станковому пулеметчику, но и бывшему командиру взвода пешей разведки стрелкового полка. Таковым я стал через год с небольшим после первого ранения.

Но об этом — впереди

III. Как я стал разведчиком

После первого ранения, ряда госпиталей и батальона выздоравливающих меня отправили в Моршанское стрелково-минометное училище, которое я окончил, получив звание «младший лейтенант» и специальность «командир взвода батальонных минометов».

Я стал уже совершенно другим человеком. Госпиталь, училище, да и целый год взросления укрепили меня прежде всего физически, я ощутил жизненную силу. Сознание новоиспеченного младшего офицера значительно отличалось от мироощущения рядового. Подневольность уступила место сознательной готовности подчиняться как фундаменту требовательности к другим людям.

Выпускной ужин был с водкой. Одним хватило того, что стояло на столах. Другие напивались только для того, чтобы напиться, и опьянение служило, как им, по-видимому, представлялось, надежным, хотя и примитивным средством самоутверждения.

Система пополнения действующей армии офицерами состояла главным образом из Отдельных полков резерва офицерского состава (ОПРОСов).

Сначала нас из училища отправили в Харьков, в 61-й ОПРОС, а оттуда через две недели на 4-й Украинский фронт в 4-й ОПРОС. Здесь выяснилось, что триста младших лейтенантов, командиров минометных взводов, фронту не переварить. Легко сообразить, что такого количества взводных минометчиков действительно хватило бы не менее, чем на десять дивизий, и то, если эти дивизии в одночасье лишатся всех своих минометчиков. (Тут можно вспомнить о планировании подготовки кадров.)

Почти всех нас, за редчайшим исключением, переквалифицировали в командиров стрелковых взводов. Таковых всегда не хватало, так как по (официальной или неофициальной) статистике средняя продолжительность боевой жизни (именно боевой!) взводного-стрелкача составляла одиннадцать часов. Даже если и не часов, а дней, то тоже не позавидуешь. «Переквалификация» была воспринята без энтузиазма. Каждый из нас знал, что минометы ведут огонь из закрытия, из-за обратных скатов высот, а командир стрелкового взвода в атаке — первейшая мишень. Правда, если противнику удалось засечь минометы, то и они будут накрыты. Но, во-первых, это произойдет не сразу, а во-вторых, своевременный переход на запасную позицию выведет минометчиков из-под огня.

Вскоре вместе с несколькими моими однокашниками я прибыл в резерв 1-й гвардейской армии, затем, дня через три, в 30-ю Краснознаменную Киевско-Житомирскую стрелковую дивизию, а через час — в ее 71-й полк.

В строевой части полка мне сказали, что я назначен командиром взвода 4-й стрелковой роты, указали хату, где я могу переночевать в готовности рано утром отправиться на командный пункт (КП) полка. Но внезапно обстоятельства изменились.

Дело в том, что за несколько дней до этого полк (как и вся дивизия) понес большие потери. Были подчищены тылы, артиллерийская прислуга (как у нас говорили в таких случаях, провели «тотальную мобилизацию»), и пехота получила пополнение, которому однако требовалась минимальная дополнительная подготовка. Более всего батальоны нуждались в ручных пулеметчиках. Находившемуся в резерве полка и ожидавшему назначения капитану Еременко было приказано организовать экстренную подготовку ручных пулеметчиков. Он привлек к этому трех младших лейтенантов, и мы за три дня должны были подготовить тридцать расчетов. Материальная часть ручного пулемета Дегтярева (РПД), разборка и сборка, учебные стрельбы. Стрельбы заняли весь третий день. Кроме реального боя, ни на каких стрельбах, мне кажется, боеприпасы не расходовались с такой щедростью.

В назначенное время капитан Еременко приказал мне построить подготовленных нами пулеметчиков, и мы повели их на КП полка. Для меня это был одновременно путь в батальон для заступления на должность. Путь в горы был долог. К обеду мы достигли КП. Там пулеметчиков разобрали по подразделениям, а мне, спускаясь в блиндаж командира полка, Еременко бросил: «Взводный, подожди». В дальнейшем он меня по-иному никогда и не называл: — «взводный» и все.

Я спустился в соседний блиндаж, а не спуститься было нельзя, так как на КП полка ложились редкие мины. «Подожди» означало быть поблизости. В блиндаже стучали ложками, и я тоже получил котелок супа-пюре горохового. Не успел я доесть, как просунувшаяся в блиндаж голова крикнула: «Такой-то, к командиру полка!»

«Младший лейтенант Сагалович по вашему приказанию прибыл!» С дневного света в полумраке блиндажа не всех сразу различаю. Молчание, командир полка пристально смотрит мне в лицо: «Назначаю Вас командиром взвода пешей разведки полка». Мне только-только исполнилось двадцать лет, вначале я воевал пулеметчиком и был ранен. Потом меня учили на минометчика, переучили на стрелкача, и вот назначают разведчиком. Я мог

представить себя кем угодно, но меньше всего разведчиком: ни по характеру, ни по образу мыслей, ни по моим физическим данным, как мне казалось, я никак не соответствовал сложившемуся у меня представлению о разведчиках.

Для меня разведчики были существами высшего порядка. Однако я выдавил из себя «Есть». Может быть, подсознательно сработал внушенный мне принцип: «На службу не напрашивайся, от службы не отказывайся». Стоявший против меня капитан Еременко подмигнул мне. Оказывается, его накануне назначили ПНШ-2, т. е. помощником начальника штаба полка по разведке, и он тогда же приглядел меня себе во взводные, не сказав мне об этом ни слова.

У меня есть только косвенные свидетельства моих «разведывательных» качеств. Во-первых, хотя меня больше ругали, чем хвалили, но все-таки из разведки не выгнали. Во-вторых, когда уже после второго ранения я вернулся в полк на прежнюю должность, половина моего взвода была еще цела, и они встретили меня тепло. Ошибиться я не мог.

Итак, состоялось неожиданное и ошарашевшее меня назначение. Был вызван мой помкомвзвода, ст. сержант Максимов, который весьма вежливо и предупредительно, тем не менее подчеркивая трехлетнюю разницу в возрасте, проводил меня в блиндаж взвода и представил разведчикам. Я узнал, что прежний взводный, лейтенант Пегарьков, ранен три дня тому назад, что разведчики его уважали за храбрость и заботливое к ним отношение.

Мои дальнейшие действия и поведение определялись не только приказами моих начальников и требованиями устава, но в не меньшей степени еще тремя факторами: не противопоставлять себя воспоминаниям теперь уже моих разведчиков о предыдущем командире; быть во всяком случае не хуже, чем он; и преодолеть сомнения в том, что я, быть может, на самом деле не обладаю необходимым набором качеств разведчика. Впрочем, по мере накопления опыта, а главное — с ростом количества успехов, эти сомнения постепенно ослабевали (хотя и не исчезли совсем).

Чего я так и не приобрел, так это жесткой командирской требовательности. По-настоящему я применял ее при нарушениях этических норм. Любую группу, которая выполняла сколько-нибудь опасное задание, я всегда вел сам. У меня хватало духу приказать отправиться на задание малочисленной группе без моего личного участия, только если задание было не очень опасным или не очень значимым. При взятии языка мне не полагалось быть в группе захвата, но в группе нападения я был всегда.

Вообще, я уверен, что личное наиактивнейшее участие взводного во всех заданиях, независимо от жесткости его характера, было необходимым условием успешного командования. Лучше любой команды — полнейшее взаимопонимание с полуслова, а иногда — проверенный и надежный принцип «делай как я». Не скажу, что во всех случаях это давалось мне легко. Тем не менее я заставлял себя незаметно для моих подчиненных преодолевать чувство опасности, иногда страшной. В противном случае — налицо было бы шкурничество, что на фронте, мягко говоря, не прощалось. Я не мог быть исключением.

Почему говорится «взвод пешей разведки», а не просто «взвод разведки»? Дело в том, что незадолго до того, как я превратился в разведчика, в стрелковых полках были взводы еще и конной разведки. Их, и не без оснований, упразднили, но память о них сохранилась именно в слове «пешая», хотя надобность в нем совершенно отпала.

Однако память о конной разведке сохранилась у меня не только потому, что мой взвод назывался взводом именно пешей, а не конной, разведки.

В ночь на 31 декабря 1944 года дивизия была выведена из боя и, покинув водораздельный хребет Западных Карпат, откуда по ночам были видны огни г. Кошице, вышла на равнину в район населенных пунктов Сечевце и Збигнев. Мы еще спускались с гор, когда рассвело, и стала далеко до мельчайших подробностей видна вся предгорная равнина к востоку от хребта. Пока мы не отбросили немцев в лесистую часть хребта, они пользовались этим обзором для ведения точного прицельного артиллерийского огня.

Утром начался марш на юг к границе Венгрии. Моему взводу приказано выйти первым и достигнув деревни Киш Божва, дождаться там полка, подготовив его расквартирование. Как мне полагалось, я проверил готовность взвода к маршу, и в этот момент ездовой и повар Пуздра неожиданно подвел мне оседланного коня, о существовании которого я и не знал. Он содержался в тылу, там было «хозяйство» взвода, а в хозяйство я совершенно не вникал. Всем обеспечением взвода ведал старшина Барышевский, человек бывалый и тертый, лет на десять старше меня. Конь был замечательный. Достаточно красивый, стройный и надежный. В нем был виден настоящий бывалый фронтовик. Он отличался от коня-аристократа, побеждающего на выездке или на конкуре, так же как немного отдохнувший офицер переднего края от офицера генерального штаба. Первый — в полевой форме, т. е. в пилотке и видавшей виды шинели, пуговицы зеленые и тусклые,

но сидит она на нем хорошо. Сапоги кирзовые, но начищены отменно. Второй — в фуражке с лаковым козырьком, в шинели с блестящими пуговицами и хромовых сапогах.

Садиться на коня мне было не впервой, но тренировки у меня не было никакой. Так мы и двигались. Я «на боевом коне» либо впереди, либо рядом со взводом. Конечно, теоретически мне была известна техника верховой езды, т. е., чередование опоры на стремена с легким присаживанием в седле в такт движения коня. Но отсутствие практики сделало свое дело. После нескольких часов марша, на очередном привале я был ужасно рад, когда Филоненко нахально-мечтательно выразил несбыточное, якобы, желание «прошвырнуться» на коне. Как я, скрывая раскоряку, дошел в новогоднюю ночь до Киш-Божвы, никто, кроме меня, не знал. Конная разведка окончательно перестала существовать.

Разумеется, сознание воинского долга, молодеческая удаль, безусловная готовность к самопожертвованию и ощущение некоторой исключительности в самой принадлежности к весьма уважаемому в армии слою разведчиков играли определяющую роль в поведении каждого из них. Но было и сознание того, что признаваемая всеми опасность профессии разведчика компенсируется его самостоятельностью в выборе образа действий, смотря по обстоятельствам боя. Действуя с умом, разведчик вполне мог остаться неуязвимым. Возможность действовать ночью, тихо крадучись, до поры не обнаруживая себя, давали разведчику несравненные преимущества перед пехотинцами стрелковой роты.

Этой самостоятельностью и возможностью не быть мишенью немецкого пулемета, начиная с расстояния действительного огня, очень часто пользовались начальники, которым подчинялись подразделения войсковой (в отличие от агентурной) разведки. Наш начальник штаба в воспитательных целях часто грозил: «В пехоту отправлю!» Действовало безотказно. Что ни говори, а свобода — великое дело.

Ну, а моей совершенно личной заботой, которой я ни с кем не делился и которая с тех пор подсознательно была неотступно со мной, была забота — соответствовать.

IV. Зимнее наступление 1945 г

В самом начале зимнего наступления 1945 года 4-й Украинский фронт стремительно двигался вперед. В полосе наступления нашей 30-й Краснознаменной Киевско-Житомирской дивизии, начавшей марш из района Гуменне, что в восточной Словакии, были такие населенные пункты в Западных Карпатах, как Ганушовице, Прешов, Сабинов, которыми мы овладели почти с ходу менее чем за трое суток. Прешов — это, по нашим меркам, город районного масштаба.

Сабинов был взят на рассвете, и на весь день моему взводу предоставили относительный отдых, чтобы подготовиться к ночным действиям.

К вечеру мне было приказано с наступлением темноты выполнять задачу разведывательного отряда по маршруту: Сабинов, подножье выс. Минчаль, Чирч, Лелюхов, Мушина. Таким образом, после Прешова наступление дивизии получило направление на северо-запад, а городок Мушина находится уже на границе Чехословакии и Польши. Полк начинал движение через полчаса после нас, а это означало, что ни огневой, ни, тем более, зрительной и звуковой связи с боевым походным охранением полка у нас не было. О встрече с противником приказано сообщать красной ракетой.

Допускаю, что называть взвод отрядом — это слишком громко, так как отрядом называют не менее чем роту. Однако при таком отрыве от главных сил назвать взвод всего лишь разведдозором тоже несправедливо.

Сорок километров пути по теснине с крутыми лесистыми склонами, щебенка и железная дорога идут рядом, а горная речка (один из притоков Горнада), извиваясь, неоднократно их пересекает. Накоротке проверяем каждый полустанок. Кроме ж.д. — служащих и их семей, никого больше не встретили. Противник откатывался на запад, временами оказывая сопротивление. Незадолго до рассвета, двигаясь уже вдоль Попрада, достигли Мушины. Через некоторое время подошел полк, и тут бы отдохнуть после ночного сорокакилометрового броска, но оказалось, что взорван тоннель в Пивничной.

Именно через Пивничну пролегал путь дивизии на Стары Сонч. Теперь же этот путь исключался, добавлялась внушительная лишняя петля километров на двадцать через курортный городок Крыница, что к северо-востоку от Мушины. Своевременное выполнение задачи требовало отказаться от отдыха. Петля, вместо отдыха. Города Стары Сонч мы достигли глубокой ночью,

покрыв после Сабинова за одни сутки восемьдесят километров пешего пути. Стоит ли убеждать читателя в том, что измотаны мы были за эти сутки до крайности.

Еще один переход после Стары Сонч — и дивизия втягивается в глухие леса на склонах Высоких (иногда их называют Западными) Бескид.

По сведениям польских партизан, противник ушел накануне. Считаясь с возможностью внезапного нападения, время от времени даем серии отпугивающих автоматных очередей в уходящий вверх по склонам лес — это плотные стены заснеженных елей.

Вдоль горной речки часами тянется вереница беспорядочно разбросанных хуторов, которые объединены общим названием Каменица. Возле одного из домов в небольшой группе польских партизан мелькнуло знакомое лицо. Вроде бы и он узнал меня. Это младший брат одного моего школьного товарища Епифанова. Они погодки. Когда мы учились в 4–6 классах 150-й школы (теперь против нее аэровокзал на Ленинградском проспекте), он был, соответственно, в 3–5 классах. Имен братьев я не помню, но помню, что радость от встречи была несказанной. О старшем брате младший ничего не знал, у польских партизан работал радистом, шапку носил со звездой, на ногах немецкие короткие сапоги, подпоясан ремнем с «Gott mit uns» на пряжке. За две-три минуты успели обменяться всего несколькими фразами. Последний раз виделись детьми в школе в 38-м году в Москве, не думая о будущем. Могло ли нам прийти в голову, что снова встретимся через семь лет на войне в Бескидах на юге Польши?

На фронте у людей бывали самые неожиданные и невероятные встречи. Эта — одна из них.

На этом переходе мой взвод не вел активных действий, но суровость ландшафта и все более крутой подъем вверх, выступавшие над дальними черными лесами белые вершины гор, наконец ощущение, что противник больше не может отходить, не используя удобных естественных оборонительных рубежей, которые предоставляет ему сама природа, все это навязывало тревожное подозрение, что близок трудный бой.

Тем не менее с наступлением темноты полк остановился, и начальник штаба разрешил взводу отдыхать. Скирда сена, в которой мы прорыли глубокую нору, нам была как натопленная изба, и мы заснули мертвым сном. Внутри стога всегда тепло.

Начинало светать, когда меня разбудил связной: «Срочно к командиру полка». Зам. командира дивизии подполковник Гоняев при гробовом молчании командира полка по карте поставил мне задачу: «Видишь, церковь? Там 35-й полк нашей дивизии ведет

тяжелый бой. Разведать подступы, вернуться и провести туда ваш 71-й полк».

До церкви — три километра. Находиться так далеко от переднего края, т. е. заведомо не подвергаться ружейно-пулеметному огню противника, разрывы мин и снарядов не в счет, (да что там 3 км., достаточно и 500 м.!) на современном языке означает лежать на пляже в Сочи. Со мной четыре разведчика, идем кучкой, полушубки расстегнуты, автоматы висят на плече. Проходим деревушку Конина (это ее жителям принадлежит та скирда-ночлег). За ней сразу начинает сужаться горловина ущелья, по которому от водораздельного хребта навстречу нам течет речка метров десяти шириной. Течет она летом, а зимой она подо льдом. Перед самой деревней она круто поворачивает, и когда именно на этом повороте мы ступаем на лед, пройдя не более 500 м. от того места, где я получал задачу, в нас в упор с близкого расстояния бьет немецкий пулемет.

Один ранен в ногу. Подхватив его, мы стремительно бросаемся вперед, под противоположный бережок. Он хоть и невысок, но мертвое пространство образует, и у нас есть время опомниться. Фамилия раненого — Мороз. Оказавшийся с ним рядом Прокофьев начинает его перевязывать. Приподнимается чуть больше дозволенного и немедленно погибает.[8] Пуля в голову. Невредимых нас только трое. Двое тянут по льду раненого вправо от меня вдоль берега под кустарниковую маску, чтобы обмануть немцев незаметной сменой положения и получить возможность под прикрытием прибрежного кустарника побыстрей переправиться через речку к ближайшим деревенским постройкам. Урывками поглядываю в их сторону и одновременно слежу, что делается за поворотом речки. Вижу метрах в тридцати крадущуюся ко мне фигуру. Отстреливаюсь. Ребята незаметно перебрались в надежное укрытие и из него огнем прикрывают меня. Через несколько минут там оказался и я.

Я точно знаю, что никакой команды я не подавал, и в ней не было никакой необходимости. Может быть, произнес: «Давай». Действия каждого диктовались только обстановкой и были единственно возможными. Надо перевязать раненого — и Прокофьев, находившийся рядом с ним, немедленно начинает перевязку. Надо спасать раненого, а ползком по льду его тащить можно только вдвоем, — и они тащат его, не нуждаясь в напоминании. Всем одновременно ползти нельзя. Но это автоматически означает, что прикрывать отход могу только я. Разведчики знают, что меня одного долго без поддержки оставлять нельзя, и они торопятся. Как только они достигают укрытия (а я этого не вижу, так как теперь они уже не справа от

меня, а сзади, но оглядываться мне невозможно) они мне негромко кричат: «Комвзвод, давай». Ползу. Надо мною — пули перестрелки.

Приходим в себя, и тут я вижу, как боевое охранение 35-го полка, крадучись, только-только выдвигается в направлении противника, из-под огня которого мы только что выбрались.

Это тот самый полк, который, по словам Гоняева, якобы вел бой далеко впереди. А до той церкви как было 3 км., так и осталось. И она ни при чем, т. е. никакого отношения к делу не имела. Гоняев обманул меня. Он обманул мою бдительность, чтобы мы своей кровью обозначили передний край противника. Зачем ему правдиво ставить задачу на обнаружение переднего края противника? Чего доброго, разведчики будут двигаться осторожно, как им и полагается по боевому уставу! А он, Гоняев, торопится. Да и достоверность сведений несомненна. А что один напрасно убит, а другой напрасно ранен — ему наплевать. Война без потерь не бывает!

Эта бесспорная истина почти всегда носила циничный оттенок. Если потери были неизбежны, то произносить что бы то ни было в их оправдание нет никакой нужды, ясно и так. А если произносится, значит, не все гладко, и фраза превращается в ширму, за которую можно спрятать и неумение командовать, и неумение, а то и нежелание, ценить человеческую жизнь.

В случае с Гоняевым, я уверен, имело место и то, и другое. Хитрость, направленная на то, чтобы ввести противника в заблуждение, обмануть его — это военная хитрость, и она всегда ценилась и поощрялась.

Иначе говоря, обхитрить противника — это доблесть. Обхитрить ближнего и «подставить» его — это подлость. Исход этой затеи Гоняева мог быть куда серьезней: не открой фрицы огонь, мы могли оказаться живьем в их лапах.

Снова оказавшись уже не на переднем крае (у нас его «перехватил» 35-й полк), а в своем родном тылу метрах в ста от боя, мы вошли в ближайшую хату. Я послал одного разведчика с донесением, и вскоре прибыл капитан Еременко с несколькими моими ребятами. Мороза отправили в санроту, а тем временем на столе оказался чугун с дымящейся картошкой, кислая капуста и бутыль с бимбером (польский самогон). Из беседы Еременко с суетившейся по хозяйству молоденькой паненкой, с невозможно голубыми глазами и раскрасневшимися щеками, выяснилось, что все мы «гарны хлопцы».

Должен признаться, что никакая попытка нравственного анализа происшедшего, который промелькнул выше, мне тогда и

в голову не приходила. Все это было в порядке вещей. К нравственному осмыслению событий войны, особенно тех, которые били и мяли меня, я пришел только лет через сорок. То ли пришло именно такое время, время оценок прошлого, то ли наступил возраст, в котором начинается подведение итогов… Этого я не знаю, да и нужно ли в этом особенно разбираться. Скорее всего, многое соединилось вместе.

Но ведь и я хорош. Мне были известны случаи подлого поведения Гоняева. Несмотря на это, я даже и не подумал о возможном обмане, хотя теперь я вижу, что признаков обмана было сколько угодно. То ли из-за доверчивости, то ли из-за воспитанной готовности беспрекословно выполнять приказы, то ли потому, что «военнослужащий должен уважать своих начальников», во всяком случае, и из-за моего некритического отношения к полученному приказу погиб один из моих разведчиков. Ему, отцу двоих детей, было двадцать восемь лет. Будучи на 8 лет старше меня, он выполнял мои приказы с какой-то добротой и участием. Чуть позднее нам удалось унести его тело на крохотное сельское кладбище и там похоронить.

В моем подчинении были не массы, за гибель которых никто не отвечал, а единицы. Поэтому и жизнь, и смерть каждого я чувствую собственной кожей.

Несколько часов спустя меня вызвал командир полка. Он ко мне очень хорошо относился. «Что же это ты двоих потерял?». И я не нашелся, что ему ответить. Может быть, он хотел сказать: «Ты же знаешь, кто такой Гоняев. Зачем поверил ему?». Но только через много лет мне пришел в голову возможный ответ на его упрек: «А ты-то ведь знал, что он врет! Но ведь промолчал!»

Когда пишешь, то кажется, что скорость письма и скорость чтения должны следовать динамике изображаемых событий. Поэтому трудно отвлечься на описание деталей. Но ведь гибель моего разведчика я и сейчас вижу перед глазами с мельчайшими подробностями, как будто это все происходит сейчас. Еще не оценив до конца, что случилось, я краем глаза справа от себя вижу, как Прокофьев выбирает положение поудобнее. Приноравливается. Лицо сосредоточено. Глаз его я не вижу, так как он смотрит вниз на раненую ногу Мороза (а Мороз рядом со мной). Ресницы опущены. Вдруг голова его падает. Падает так, что мне видна дырка в его шапке. Падает и его тело на ноги Мороза. Все.

Несть числа смертям, которые были рядом со мной. Но дважды я видел воочию мгновенный внезапный переход от жизни

к смерти. Лицо живое — и вдруг каменное. Страшный переход от жизни к смерти обозначается бесшумным мгновенным появлением скорее розового или бурого, чем красного, пятна диаметром меньше сантиметра на виске, на лбу.[9] Однако мы видим только внешние проявления момента смерти. Лицо становится каменным… Но так ли мгновенно исчезает и сознание, или хотя бы ощущения. Не может ли быть так, что внутри у человека, в его мозгу происходит такая невидимая нам буря страданий, что и представить ее невозможно. А что происходит с человеком во время его расстрела, который ему объявлен?!

И вот что со временем буквально наводит тоску. Во всех воспоминаниях о бое главное внимание уделяется его течению, истории, его подробностям и отношениям в бою между его участниками. Но как ставить на первое место такие, так сказать, «ключевые» слова, как, например, «стреляли», «ползли», «перевязывал», «прикрывали» и т. д., т. е. рассказывать о действиях? Как можно живописать действия живых, если главным и непостижимым событием той минуты, когда мы лежали, сгрудившись под защитой низенького бережка паршивой речушки, была случившаяся на твоих глазах мгновенная смерть человека. Даже сильнейшая боль от раны не может состязаться с впечатлением от смерти. Испытываемая боль — это признак еще текущей жизни. Оборвалась жизнь, человека вдруг не стало, катастрофически изменилась жизнь его семьи. Мир перевернулся! От неразрешимого противоречия можно сойти с ума. Писать что-нибудь вразумительное об этом — выше моих способностей. «Мысль изреченная — есть ложь». А написанная — вдвойне.

Так или иначе тут же все было забыто, разворачивался новый сценарий. Командир полка подполковник Багян был из Степанакерта. Спокойный и немногословный. За месяц до описываемых событий, т. е. примерно за десять дней до Нового 1945 года, когда полк никак не мог овладеть гребнем хребта, с которого открывался и вид, и путь на Кошице, он к ночи взял с собой меня с пятью разведчиками на наблюдательный пункт (НП) батальона майора Воронова. Оттуда подполковник приказал мне пробраться на гребень и вернуться за час до рассвета. Только наблюдать и рассказать все, что видел.

Речь не о моих действиях, а о Багяне. Между нашим передним краем и НП батальона было метров сто, и по этому пространству непрерывно ложились немецкие мины. Багян стоял в рост, и если замечал, что кто-то реагировал на близкий разрыв, только едва поводил головой.

Так вот, подполковник Багян, упрекнув меня в потере двоих

разведчиков, приказал готовить взвод к выполнению новой задачи: ночному переходу через партизанский район в тыл противника по горным тропам через перевал. Тот самый 35-й полк нашей дивизии так и не смог продвинуться по тому самому ущелью. Там немцам хватило нескольких пулеметов, чтобы закупорить вход в него. Возникла идея совершить обходный маневр. 35-й полк сковывает противника у горла ущелья, а усиленный батальон нашего полка под командованием самого командира полка с проводниками из числа польских партизан совершает скрытный ночной переход и утром с тыла (и сверху!!!) с ходу внезапно атакует гарнизон курортного городка Рабка.

Подготовка к маневру велась незаметно, и чтобы не обнаружить замысла командования, движение началось только с наступлением темноты через несколько часов после утренних неудач. Дивизия не была горнострелковой, вьючными животными не располагала, и все огневые средства — пулеметы и минометы, ящики с патронами и лотки с минами — все несли на плечах. Обход длился всю ночь. Протоптанная в глубоком снегу и меж валунов тропа была настолько крутой, что силуэты людей, очертания пулеметов и минометов мелькали почти над головой на фоне слабо белевшего неба, которое, проглядывая между обступавшими нас огромными елями, как будто повторяло своими извивами нашу тропу. Иногда перед глазами в темноте вдруг возникал белый круг, пересеченный крестом — санитарная сумка. Это означало, что поблизости оказывалась санинструктор Аня.

После полуночи достигли перевала, и тропа повела вниз. Миновали две малюсенькие горные деревушки Недзьвезь (Медведь) и Слонце. Незаметно стало светать, и вдруг далеко внизу за деревьями мелькнули крыши домов. Рабка! Накоротке, скрытно, с соблюдением всех мер маскировки провели разведку. Мы ничем себя не обнаружили, и я стал свидетелем, как командир полка докладывал по рации командиру дивизии: «Товарищ сорок один, товарищ сорок один, против меня, против меня один батальон, один батальон и две самоходки. Но я их не боюсь, но я их не боюсь, я им дам перцу, прием». Среди обступивших командира полка и рацию были польские партизаны-проводники. Улучив момент, они просят доложить об их действиях и представить к наградам. Для партизан всегда важно, чтобы их действия подтверждались независимым источником.

Как и обещал командир полка, мы «дали перцу» гарнизону Рабки. Мы буквально свалились противнику на голову. Он застигнут врасплох, и на улицах мелькают задницы в

подштанниках. Городок взят молниеносно, вместе с пленными и трофеями. А к исходу дня к усиленному батальону присоединились возглавленные начальником штаба полка майором Гуторовым[10] остальные подразделения полка, так как превосходно организованный и точно проведенный обход по высокогорью, завершенный молниеносной атакой, почти без потерь, полностью обезвредил и лишил всякой ценности заслон противника у входа в ущелье, оставив его далеко в тылу наших войск. Главный хребет Высоких Бескид был преодолен.

Начальники штабов вообще хорошо относились к разведчикам. В большинстве случаев они строили свои отношения с разведчиками напрямую, минуя помощника по разведке. Вот и наш начальник штаба по-своему грубовато выразил удовлетворение нашими действиями, но тут же пообещал, что отдыха нам не будет: «Захватить узел дорог Хабувку и удерживать до подхода полка».

Избегая дорог, пересекли два отрога хребта и опять-таки сверху ворвались взводом в Хабувку. Серьезного сопротивления немцы не оказали. Отстреливались, уходя. Полк подошел часам к четырем утра. Нас похвалили, и начальник штаба свою доброту обозначил приказом: «Отдыхать. Начало выдвижения полка — в 8.00».

Мы проспали. Солнце уже сияло, а снег искрился, а полка — след простыл. Скандал! Мы разгильдяи. Запрягли трое саней, и польские пареньки погнали коней, весело размахивая кнутами и с озорством выдавая целые каскады брани. Например: «А, пся крев, курва мама! Пердолена гола дупа босым х…!»

Полк мы догнали быстро, а начальник штаба сделал вид, что ничего не произошло. Наступление продолжалось стремительно. Полк овладел населенным пунктом Спытковице. Воспользовавшись наступившей темнотой, противнику удалось оторваться от наших сил. Однако ненадолго. После ночного марша на рассвете 2-го февраля взята Яблонка (а в нескольких километрах левее, к северо-востоку виднелся город Новы Тарг, бой за который вели другие части 1-й гвардейской армии).

Мы настигали противника, вот уже в наших руках деревня Липница Мала (это снова Словакия)… Миновав ее, мы буквально в двухстах метрах в низкорослом ельнике обнаружили остатки догоравшего костра и уходящие от него свежие не занесенные снегом следы трех пар ног.

Не дать им уйти, взять языка…Необходимо узнать все о противнике, который близок. Неожиданно мы видим, как в ста метрах от нас уже с другой стороны по пологому снежному полю в направлении большого села, протянувшегося по долине,

удирают трое. Догнать невозможно, слишком глубок снег. На бегу открываем огонь. Один сразу захромал, но пытается не отстать от тех двоих; после нескольких шагов падает. С белым, как снег, лицом, не дожидаясь наших расспросов, как только мы приблизились к нему, выкладывает численность и намерения батальона, расположенного в селе. Это село — Липница Велька. По-другому — Нижна Липница, или просто Нижна. Она тянется несколько километров по берегам узкой горной речки, которая впадает в реку Ваг.

Утро пасмурное, падает снег. Перед нами, как в молоке, бледная черно-белая фотография: село, колокольня костела, голые деревья, за селом уходящий вверх склон, оканчивающийся лесом, который тянется вдоль резко обозначенного еще одного хребта. Этот хребет называется Малая Фатра. Он из системы Западных Татр. Именно у его подножья вьется упомянутая выше речка. В нескольких километрах севернее белела самая высокая вершина Бескид — Бабья Гура (1725 м.). Сколько их, этих хребтов и вершин на нашем пути, начиная от Прикарпатья…

Нас девять человек разведчиков. Местность открытая. Перед нами в полукилометре — село, начиненное противником, но огня нет. Полк далеко позади, он еще не развернулся, огневой поддержки ждать не приходится, но останавливаться нельзя ни в коем случае. Движемся в цепи. И вдруг видим, как по косогору за селом в сторону лесистого хребта змеей вытягивается колонна противника! Уходит! Разумеется, принимать бой, находясь в низине, ему невыгодно, тем более, что в километре виден наступающий полк. Но ведь проворонили, фрицы! Иначе использовали бы время, чтобы развернуть против полка, хотя бы и скудные артиллерийские или минометные средства батальона.

Нас тут же охватывает бесшабашный азарт преследователей, и мы что есть мочи несемся в село по пологому склону. Ухватить хотя бы хвост этого уходящего батальона… Нас догоняет начальник штаба полка. Не помня себя, я как оглашенный ору: «Давай пулеметы!», хотя и дураку ясно, что быстро подтянуть пулеметы по глубокому снегу невозможно. Если уж и нет возможности разгромить уходящего противника, то надо во что бы то ни стало нанести ему максимальный урон и, по крайней мере, не дать закрепиться на господствующем над селом хребте! В десятке метров от нас — вход в костел, колокольня — заманчивый, хотя и опасный наблюдательный пункт. Посылаю двоих: «Наверх!» Но любой боец знает, что перед тем как войти в помещение, надо метнуть туда гранату, а запретительного рефлекса против таких действий в церкви у нас воспитано не было. Слышен взрыв гранаты, разведчики скрываются внутри

костела, а оттуда перепуганные, с поднятыми вверх руками выбегают жители села Липница Велька. К счастью, молящихся было мало, все они сидели поближе к алтарю и подальше от входа. Никто не пострадал.

Сейчас вспоминаю, и оторопь берет: гранату в костел! А тогда, мелькнуло только после взрыва: «Вдруг убили кого-то из прихожан!..» Нет, пронесло…

Но почти через шестьдесят лет вижу и другое. Нас всего несколько человек. Полк в километре позади. Я как последний дурак, ору: «Давай пулеметы!» — совершенно не осознавая, что моя горстка разведчиков — идеальная мишень для немедленного уничтожения одной пулеметной очередью. Но этой очереди нет. А я, вместо того, чтобы, руководствуясь здравым смыслом, принять меры для защиты своих ребят от ежесекундной опасности огня и уничтожения, увлечен преследованием, и мы гоним вперед, хотя нам никто этого не приказал. Я не могу поверить, что фрицы сознавали, что могут нас уничтожить и не сделали этого по какому-то своему трезвому расчету. Скорей всего, и мои, и их действия были совершено иррациональны. Наш азарт оказался равным их расчетливому страху.

Всего три дня тому назад нас, как дураков, обманом «подставили» под огонь, а теперь мы сами на него лезли, но нам сопутствовала удача.

Короткий бой с остатками противника в селе (всегда найдутся замешкавшиеся). Четыре десятка пленных. Подоспели роты. Ведут преследование, все дальше к лесу, к хребту. А я вдруг вижу брошенный немецкий миномет калибра 81 мм. Наш батальонный миномет имеет калибр 82 мм. Мое минометное прошлое взыграло. Послать бы несколько мин по уходящему батальону. Как-никак я был выпущен из училища командиром минометного взвода. Трофейное оружие знал. Хватаю мину из лотка, готов опустить ее в ствол, но тут меня окликает (хорошо помню) Никулин: «Комвзвод!» Я оглядываюсь и вижу, как из подвала ближайшего дома выбирается около десятка солдат противника с поднятыми руками. Они называют себя русинами из Прикарпатья. Немцы их мобилизовали, а теперь они улучили момент и решили сдаться нам. Показываю им, куда надо идти, а сам возвращаюсь к миномету и почему-то заглядываю в ствол. А там — мина!

Наш батальонный миномет бил только на выстрел, т. е. опускаясь в ствол, мина капсюлем накалывалась на торчащий в казенной части ствола боек и тотчас вылетала из ствола. Немецкий же миномет устанавливался также и на спуск. Т. е., боек мог убираться, мина при этом опускалась, но оставалась в

казенной части, а головной взрыватель становился на боевой взвод. Когда было надо, приводился в действие спуск, боек резко выдвигался вверх и накалывал капсюль. Происходил выстрел, и мина вылетала из ствола.

Так вот, если бы Никулин меня не отвлек, я опустил бы свою мину, она ударила бы на взрыватель мины, уже сидевшей в стволе, и меня разнесло бы в клочья. Мне опять повезло.

Важно было не дать противнику закрепиться на гребне хребта. Весь остаток дня и следующие сутки были потрачены на бои по выдавливанию противника за хребет. Нам пришлось потрудиться главным образом в поисках подразделений, с которыми была потеряна связь. И несколько раз получалось так, что ни своих, ни немцев мы не обнаруживали. Это одна из опасных неопределенностей.

На третье утро в полку появился Гоняев. Он потащил меня к слуховому окну на чердаке дома ксендза. Весь участок полка от фланга до фланга расположен на обращенном к нам склоне хребта и потому виден, как на ладони. Есть только два цвета: белый и темно-зеленый, который воспринимается как черный. Местами весь склон до водораздельной линии наш, местами — нет.

— Вот та опушка — спрашивает не по адресу Гоняев — чья?

— Наша.

— Врешь, бегом туда, через десять минут с опушки дашь ракету!

— И получаса не хватит.

— Бегом…..мать!

В это время щелкают пули и осколки черепицы впиваются в щеку и руку. Гоняева как ветром сдуло. Я ушел ко взводу. Хорошо, что стрелял не снайпер. А говорю я, что спросил Гоняев не по адресу вот почему. Разведчик не обязан знать, какой рубеж занимают наши войска, а обязан знать, где противник. И эти сведения могут не совпадать.

Так или иначе удалось обезопасить расположение полка от прицельного огня. Однако дальнейшее продвижение было замедлено. Начались затяжные бои с частыми контратаками и переходом из рук в руки высот, с восстановлением положения. Расположенным за хребтом Малая Фатра местечком Полгора так овладеть и не удалось. Наиболее ожесточенные бои велись на правом фланге полка, там где Липница переходила в Пшиварувку.[11]

На фоне этих событий постоянной заботой были поиски с целью захвата «языка». За три недели боев в обороне вполне

успешными в нашем взводе были три таких поиска. Один раз попался эльзасец, который божился, что он рабочий, шофер, коммунист. Один, не вошедший в «отчетность», пришел сам, заблудившись с двумя полными котелками.

Про то, как мы взяли эльзасца, я сейчас расскажу. В тылу полка за его правым флангом находилась деревня Кичора. От Пшиварувки, почти перпендикулярно к линии переднего края, в Кичору вела дорога, а расстояние между ними было не более двух километров. И вот начальник штаба однажды рано утром приказывает мне проверить, что у нас на правом фланге, именно между Пшиварувкой и Кичорой. И мы полувзводом отправились в свой же тыл на разведку. И, странное дело, оказавшись в безмолвии своего же тыла, мы стали испытывать какое-то беспокойство. Наступил такой момент, когда я приостановил движение и решил взобраться чуть повыше по склону над тропой. Каково же было мое изумление, когда не более чем в двухстах метрах увидел немцев возле дома на отшибе. Там стоял пулемет, возле которого не было пулеметчика. Трое разговаривали поодаль. Все говорило, что это пост, охраняющий тыл подразделения, которое далеко впереди ведет бой с нашим полком. Наши тылы со-при-ка-са-лись!

Немцы охраняли свой тыл от нашего тыла, который мы от них не охраняли.

Мы не имели права себя обнаружить, но и упустить такой шанс мы тоже не могли. Я отправил Максимова с одним разведчиком в штаб с донесением. Часа через два весь в мыле, почти бегом появился капитан Еременко с тремя расчетами ручных пулеметов и, разумеется, с Максимовым.

У нас было достаточно времени, и мы еще до прибытия Еременко наблюдением за этим постом установили, что, по-видимому, многодневная тишина притупила его бдительность, и это бросалось в глаза почти сразу. В таких благоприятных условиях не взять языка — непозволительно. Когда мы были готовы к захвату, начало смеркаться. Все было в нашу пользу. Короче говоря, эльзасец, один из трех, был наш. Мы с Еременко и пулеметчиками пресекли попытки преследования. Единственное, что затрудняло наш отход, был обычный минометный огонь нам вдогонку то ли на воспрещение, то ли на подавление. Потерь не было.

Я с удовольствием вспоминаю этот неожиданный успех — точный скоротечный экспромт, да еще при курьезных обстоятельствах. Действительно, полковой разведке не полагалось действовать в тылу противника, но языка мы взяли именно в тылу противника, не переходя ни нашего, ни его

переднего края. И вообще, мы действовали не со своего переднего края, а из своего тыла. Тут есть какая-то аналогия с односторонними поверхностями. Действительно, если из нашего тыла можно проникнуть в тыл противника, не пересекая переднего края, то это то же самое, как, если бы фронт разрезать по переднему краю и тылы склеить. Прямо, лист Мебиуса!

Впрочем, в условиях горно-лесистой местности при отсутствии сплошной линии фронта такое взаимное расположение противников не было редкостью.

На обратном пути нам повстречался стрелковый взвод, который предназначался для заслона в нашем тылу.

В смысле потребления «языков» начальство всегда было ненасытно. Считалось, что новый «язык» нужен всегда. Если во время наступления более или менее тонкая струйка пленных сочилась почти непрерывно, то, как только наступление захлебывалось, или был плановый переход к обороне, для разведчиков приходила пора постоянных забот и изнурительных тягот. Неудач было всегда больше, чем успехов. Неудачи, связанные с захватом «языка», всегда трагические. Счастье улыбалось отнюдь не всегда.

Во второй половине февраля нужда в «языке» почему-то оказалась особенно острой. Однажды, после двух дней изучения объекта, мы составили детальный план действий.

«Объектом» было боевое охранение противника с изученным режимом его смены. Оно располагалось на опушке большой внутренней лесной поляны. Наблюдение за ним мы вели с противоположного края опушки, метрах в двухстах впереди нашего переднего края. К полудню, оставив двух наблюдателей, мы отправились «домой» готовиться (главным образом, поспать, подкрепиться; об оружии и снаряжении я уже не говорю — это само собой разумелось).

Смеркалось, когда мы ввосьмером отправились с окраины Липницы Велькой в свой поиск. Одновременно капитан Еременко, взяв с собой одного из разведчиков, отправился к командиру роты автоматчиков капитану Дьяченко (без бороды; был в полку еще один капитан Дьяченко, начальник артиллерии полка, — тот носил бороду; его так и звали: «борода»). Мы действуем перед передним краем его роты. С ним мы еще днем договорились об огневой поддержке, если таковая потребуется.

До пересечения тропы с передним краем менее полукилометра. Падает негустой снег. Я ни разу не видел ни на войне, ни потом, в Карпатах ли, в Бескидах ли, чтобы снег был с ветром. Он падает тихо и отвесно, ложится мягко. Рядом со мной,

отставая на полшага, идет Вася Косяк. Он старше меня на два года. Хороший, ловкий, умный разведчик. При всем при том его смелость соседствовала с постоянной заботой об ушах. Поэтому всегда, когда ему удавалось, он подвязывал уши шапки-ушанки. А я, когда это замечал, заставлял их развязать, потому что разведчик всегда должен хорошо слышать.

Вот и сейчас я увидел подвязанные уши. «Вася», — укоризненно говорю я. Вася все понимает без уточнений и подчеркнуто нехотя развязывает тесемки у шапки. А в это время в селе начинает звонить колокол к вечерне, и Вася как будто в отместку мне говорит:

— Мабуть, по нас.

Вася не промахнулся. Вот мы подходим по тропе к переднему краю роты автоматчиков. Он проходит в нескольких десятках метров перед начинающимся лесом. В ближайшие несколько минут мы должны пройти небольшой участок леса до поляны, где нас ждут мои ребята.

Высылаю дозорных. Один из них старшина, недавно пришедший во взвод с очередным пополнением. Во взводе он рядовой разведчик, так бывало, фамилии его я не помню. Второй дозорный Савицкий. Удаление дозорных ночью совсем небольшое. Голосом сигнал не подашь, может быть, только шепотом, зрительная связь, особенно в лесу, — несколько метров. Проходим мимо пулеметной ячейки на самом правом фланге роты автоматчиков. Пулеметчик с нами хорошо знаком. Напутствует. Вот уже не видно в темноте переднего края. Редкие молодые елки, дозорные уже прошли опушку и вошли в лес. Скоро подойдем к своим наблюдателям. Что-то нового они сообщат нам… И только я подумал об этом, как впереди именно оттуда, где движутся дозорные, с интервалом в несколько секунд раздаются три взрыва. Характерные взрывы противопехотных мин.

Немедленно на нас обрушился шквал огня. Пули летели в метре от нас (почему в метре? кто мерил? так я чувствовал) с металлическим визгом, воем, жужжанием и гудением. Ничего общего со штампом «пули свистят». Свистят они, когда уже забыли про канал ствола, из которого вылетели. А тут они прямо с пылу с жару, еще только-только из раскаленного дула. Плотность и напряженность жгута траекторий пуль ощущалась физически, как будто на ощупь.

Описать массу деталей, насытивших те несколько секунд, умещаясь в такой же промежуток времени, в который они имели место в действительности, невозможно. Попытаюсь сделать это хоть как-то, полагаясь на воображение и сочувствие читателя.

Рота автоматчиков, дабы обезопасить себя от внезапного нападения из лесу, поставила на ночь на нашей (!) тропе противопехотные мины. Тропа была нашей в полном и единственном смысле этого слова; мы ее проложили в глубоком снегу, ею никто не пользовался, кроме нас. Она шла до того места, где были мои наблюдатели, и там обрывалась. Она никому, кроме нас, не была известна. Чья это была инициатива фактически отсечь нас минами от наших ребят, никто так и не узнал. Если Дьяченко (без бороды) забыл про организованное с нами взаимодействие, то такая забывчивость преступна. Поставить мины, намеренно не предупредив нас, — в такое поверить невозможно. Скорее всего это сделал его взводный, которого «без бороды» не поставил в известность о нашем поиске. Так или иначе на нашем пути оказалось минное поле, на которое нарвались дозорные.

Старшина наступил на мину. Она оторвала ему полстопы и подбросила вверх. Он упал левым боком на вторую мину, которая, перевернув его на другой бок, уложила на третью. Разведчики всегда хорошо знали, что оказавшись на минном поле, нельзя делать ни шагу: мина может оказаться в миллиметре от твоей ноги. Решив с перепугу, что на мины напоролись именно те, против которых они и были поставлены (на самом деле — против нас, а не против немцев), автоматчики по всем правилам войны открыли огонь по «противнику», оказавшемуся на минном поле.

И вот мы стоим как вкопанные. Огонь неимоверный, но ни одна пуля в нас не попала. Только плохо организованный огонь, неумелая пристрелка спасли нас всех от полного уничтожения своими же автоматчиками. Доворот всего на полтысячных — и мы все превращены в решето.

Огонь длился не более четверти минуты. Опомнились-таки! Сообразив наконец, что тропа на отрезке между нами и дозорными от мин свободна, бегу к ним, и снова взрыв и крик. Это Савицкий стал (для чего это ему понадобилось!?) обезвреживать увиденную им мину, и взрывом ему оторвало левую кисть.

Еще живой, лежащий на животе старшина пытается двигаться и тем самым смещает предохранительную чеку ручной гранаты. Мы иногда против правил носили их на поясном ремне. Взрыв, осколки, поглощенные телом старшины, не разлетаются.

Двоих немедленно отправляю сопровождать в наш ближайший тыл уже перевязанного Савицкого. Потом они мне рассказали, что Савицкий шел сам и радостно кричал: «Жить

буду, е… буду!»

Тут прибежали Еременко и «без бороды». Отрывистая речь, бессвязные вопросы. Перепуганы оба. Поиск сорван, мои ребята подавлены, а я не понимаю, как это все могло произойти и еще к тому же ищу, где я промахнулся, в чем виноват. Все было оговорено с «без бороды», все обусловлено вплоть до точного времени пересечения переднего края, и с пулеметчиком перекинулись несколькими словами. Он ничем не возбудил в нас сомнений. Значит, не знал про мины.

Должен ли я был встретиться с «без бороды»? Если бы Еременко к нему не пошел, то — да. Но Еременко взял на себя обязанность поддержать взаимодействие автоматчиков с моей группой.

Доложили в полк о случившемся, и обоим капитанам было приказано «разобраться». Думаю, «без бороды» не торопился с разбирательством, ведь не мы сами на своем пути поставили мины. Тут только я вспомнил о моих наблюдателях там, впереди, в лесу. Не успел послать за ними, как они явились сами. Сообразили.

Вернулись провожатые Савицкого, привели с собой крестьянина с лошадью, запряженной в сани. Увезли тело старшины.

На тропе осталась единственная мина. Немцы на происшедшее никак не реагировали. А что им?… Тот фриц, который стоял на посту возле блиндажа, так и не узнал, какая судьба ему готовилась, он так и не дождался, когда мы придем за ним взять его в «языки». Сменившись, пошел, небось, дрыхнуть в вонючий блиндаж, так и не поняв, что, во-первых, он спасен, а во-вторых, своим спасением он обязан дураку из роты автоматчиков, наставившему пяток мин на пути разведчиков своего же полка.[12] Можно представить себе, сколько мелких и крупных случаев несогласованности бывало за четыре года войны, и во сколько напрасных смертей они обошлись. «На войне без потерь не бывает». «Война все спишет». Робко бродивший в обиходе антитезис: «а кому и запишет» не успокаивал.

Капитан Еременко был зол, но молчал.

Когда мы прибыли с докладом в штаб, я увидел незнакомых мне офицеров. Узнал, что ввиду бесперспективности пробиться за хребет и овладеть пунктами Полгора и Жилина дивизия перебрасывается на другой участок фронта, а ее полосу занимает т. н. УР — укрепрайон, с соответствующим вооружением, выполняющий только оборонительные задачи.

Утром похоронили старшину на кладбище возле костела. Дали залп и распрощались с Липницей Велькой. Вчерашние

жертвы были напрасными, а сама трагедия местного значения — забыта.

Еще раз стоит подчеркнуть, что динамика войны не оставляла ни времени, ни сил для воспоминаний и тем более их осмысления, даже если речь шла о недавних боях. Текущий бой заслонял собой все. Воспоминания, желание написать о них приходили уже много лет спустя.

Да кому ты нужен со своим осмыслением, своими переживаниями, со своими эпизодами! Надоело все это за шестьдесят лет! Нам нужна общая картина и оценка войны в двух-трех фразах, а не сказки о ее восприятии разными индивидуумами.

Вам не нужны рассказы о войне тех людей, которые в ней участвовали? Ради бога. Это Ваше дело. Но и общей ее картины без массы отдельных эпизодов и переживаний вы не получите.

А мне, что же…Когда тебе уже 80, лишь бы успеть. Не до жиру — быть бы живу.

И еще об этом же в связи с недавней смертью Василя Быкова. По-видимому, в 60-е — 70-е годы я прочитал все, что он написал о войне. Такие вещи, как «Мертвым не больно», «Круглянский мост», «Сотников», «Его батальон», «Пойти и не вернуться», «Знак беды», я читал с трепетом, упоением и благодарностью. Мысленно я подписывался под каждым словом В. Быкова, и однажды я подумал, что такое глубокое понимание человеческих отношений на войне, какое есть у В. Быкова, мне не дано.

Конечно, уже сама такая постановка вопроса была предвестником попыток моего собственного подсознательного нравственного анализа. Однако с сожалением отдавая себе отчет в моих скудных возможностях, я решил все же, что В. Быков наверняка старше меня по крайней мере лет на пять. Будь, дескать, я постарше, и мне удалось бы понять войну, как и ему. Каково же было мое изумление, когда почти треть века тому назад я узнал, что Быков старше меня всего на полтора месяца!

Разумеется, мне известна система державного хамства по отношению к Быкову. Однако у меня есть и собственные впечатления, из которых также можно сделать достоверные выводы. Летом 1996 года в Совете ветеранов 1-й гвардейской армии мне дали бесплатную горящую путевку в один белорусский санаторий, который находится в ста километрах к северу от Барановичей. Однажды, собирая грибы, я повстречал в лесу двух молодых женщин, отдыхавших в том же санатории. Обе они были жительницами Белоруссии. Каждая из них срезала мне по паре

польских боровиков, мы с дружелюбием разговорились. Про себя я отметил в них знакомые мне черты комсомольских активисток или даже уже молодых партиек. Желая показать свои теплые отношения к стране пребывания, я заговорил о В. Быкове и своем почитании его таланта. Надо было видеть, как они вдруг изменились ко мне и, показав невольно, что ни одной строчки Василя Быкова они не прочитали, пытались гасить мои впечатления от творчества писателя какими-то бытовыми деталями его жизни. Они ушли, почувствовав во мне чужака.

Но вернемся к Васе и его шапке-ушанке. Хотя роман «По ком звонит колокол» был написан за пять лет до описываемых событий, нам с Васей о нем, конечно, ничего известно не было. Это не помешало моему разведчику правильно ответить на вопрос, не задавая его.

Через несколько месяцев, перед демобилизацией Вася подарил мне свою фотографию с надписью: «Дорогому, незабутному командиру от разведчика Косяк Василий».

V. Наш военный быт

Во всех случаях взвод разведки располагается вблизи от штаба полка или КП полка, или НП полка. Место определяется начальником штаба. Оно должно обеспечивать быструю связь с командиром полка или начальником штаба. Это может быть дом в населенном пункте, блиндаж, выемка в скале или придорожная канава, смотря по обстоятельствам. Однажды мы располагались в отбитом у немцев блиндаже, и вход в него был со стороны противника. Это бы ничего, но возле входа валялся немецкий фаустпатрон. У него кумулятивный заряд, пробивающий лобовую броню танка. Командир полка увидел эту картину и дал такого нагоняя, что я долго не мог его забыть. Надо сказать, что рядом с этим блиндажом была одна из огневых позиций, по которым кочевала наша минометная батарея. Проведя несколько огневых сеансов возле нас, батарея уходила на запасную, точно рассчитав, что раньше этого момента немцы ее не засекут. А мы не уходили, и немецкие мины плотно ложились рядом с нами. Описать словами близкий разрыв тяжелой мины трудновато. Его надо почувствовать, но у меня нет подходящих выразительных средств для описания этих чувств.

В Липнице Велькой, где штаб располагался три недели, пока полк занимал оборону, вынужденно прекратив наступление, мы жили в доме метрах в ста от дома ксендза, который всегда строился рядом с костелом. Разумеется, в доме ксендза размещался штаб полка. Жили — это означало, что отсюда мы уходили на задание, а придя с задания, могли здесь обогреться, обсушиться, почистить оружие, подкрепиться и вздремнуть. По сравнению с траншеей переднего края, где пехотинцу стрелковой роты приходилось находиться круглые сутки, иногда получая возможность погреться в блиндаже, наши «квартирные» условия означали пятизвездочную гостиницу.

Употребляя слово «быт», следует отдавать себе отчет, что оно имеет смысл только в обороне (или на отдыхе).

В наступлении быта нет. Во всяком случае, я не знаю, что это такое. В наступлении фронтовик живет, греется, спасается и ест как, чем и что придется.

Так вот, в Липнице, в том доме, где мы расположились, жила семья словаков: мать, отец, грудной ребенок и его шестнадцатилетняя сестра, обворожительная Иринка. Мать, даже кормя грудью мальчика, косила глаза в сторону дочери в готовности пресечь всякие поползновения на ее внимание. Сама дочь предвосхитила эти поползновения куплетом: «Не любите

офицера, студента и ксендза».

Большую часть времени семья находилась в подполе. Снаряды и мины, не переставая, лениво ложились вокруг дома, кстати ни разу не попав в него. Хотя однажды случился такой лихой артналет, который бывает только перед контратакой. Контратаки не последовало, так как площадь артналета находилась не на переднем крае. Мы, если артналет заставал нас в «нашем» доме, в подпол не спускались, у нас для этого не было времени, да и стыдно было бы спасаться там, где сосал грудь ребенок.

А вообще, немцы контратаковали почти каждый день и не по одному разу. Обычно это бывало на рассвете. Тогда они отбивали какую-нибудь сопку, а в полку начиналась лихорадочная подготовка к выполнению приказа «восстановить положение». Весь штаб, и мы, разведчики, участвовали в этих «мероприятиях». Вечером положение отчаянным боем восстанавливалось. На следующий день все повторялось снова. Это была такая рутина с кровью и бессмыслицей… Про любую «восстановительную» ночь можно написать книгу, хотя сценарий был всегда один и тот же: пятнадцатиминутный артналет, автоматно-пулеметный треск, сопровождающий получасовое карабкание по склону. К полуночи высота наша. Все «подсобники», и мы в том числе, взяв клятвенное обещание, что батальон больше высоту не сдаст, уходят. Однако утром батальон оказывается опять внизу. Восстановление положения, как неоплачиваемая общественная работа, не было нашей прямой обязанностью. Как не было оно обязанностью и любого офицера штаба. По-моему, если мне не изменяет память, не покидал штаба только шифровальщик, ПНШ-6, капитан Самойленко. Да комендантский взвод, обеспечивавший житье-бытье и охрану штаба.

Тылы полка, в том числе и хозяйство моего взвода, состоявшее из пароконной повозки (и саней), всякого табельного имущества, необходимых кухонных принадлежностей и пр., находились в Липнице Малой не более чем в двух километрах от нас. Старшина Барышевский и Пуздра, заботились о нас безупречно. На них, как уже отмечалось, я полагался всецело, не вникая ни в какие детали хозяйства. Обмундирование, снаряжение и боеприпасы были в достатке и не вызывали никакой озабоченности.

Каждое утро и перед вечером (зимой темнеет рано) Барышевский и Пуздра привозили нам пищу. Я бы хотел видеть, какому еще взводу на фронте подавали на общий стол сковороду, наполненную жареным мясом и картошкой. А сковорода — почти

такого же размера, как и сам стол. Где Пуздра раздобыл такую!? Или откуда-то появлялся огромный чугун с холодцом! Еды было с избытком, и нам хватало на целые сутки.

Барышевский и Пуздра были намного старше меня. Им наверняка было за тридцать. Готовность (и зачастую подчеркнутая) подчиниться моему приказу сочеталась у них с покровительственной готовностью сообщать мне о своем, куда более богатом, чем у меня, жизненном опыте.

Так формулирую я только теперь. Тогда же я этого даже и не осознавал. Просто пользовался этим, как чем-то само собой разумеющимся.

Кроме фронтовых ста грамм, никакого алкоголя тогда у нас не водилось. Разведка и алкоголь несовместимы. Запрет нарушился только после Победы, хотя высшие (и просто более высокие) командиры позволяли себе напиваться и до нее.

Хлеба и зрелищ! Разрази меня гром, если я посмел бы утверждать, что кто-нибудь на фронте предъявлял такие требования. Хлеб был всякий раз, когда была возможность доставить его. А со зрелищами — как придется.

Один-единственный раз я был на концерте. Это было в полку офицерского резерва. Там я впервые услышал песню:

Иди, любимый мой, родной
Суровый враг принес разлуку.

Кроме того, певичка с акцентом пела песенку американского летчика:

Есть в Москов веселый летчик Ваню.
Самолет его, как мой Дуглас.
Вызвал он меня к соревнованию[13]
Бить фашистов прямо между глаз.

В часы затишья, подобие развлечений мы устраивали себе сами. Это была перекличка чечеткой с помощью коротких очередей из автоматов. В ночной тишине раздается: трр-трр, тр-тр-тр. Ответ вражеской стороны такой же. Так несколько раз, и все довольны.

Разведчики, особенно опытные, знали себе цену. Рассказать про их характеры — получится повесть. В разведке больше

возможностей глубоко познакомиться с каждым поближе. В стрелковом взводе людей выбивает быстро. Бывает, один бой и человек, если не убит, то ранен. «Текучесть кадров» у разведчиков отнюдь не такая катастрофическая. На войне довольно быстро было понято, что внешняя бравада не является пропуском в разведчики. Я не берусь объяснить, какими интуитивными признаками мы пользовались, периодически выбирая нужных нам ребят из добровольно вызвавшихся. Но ошибались мы редко. Выбирали и все.

В самом общем виде можно утверждать, что каждый разведчик был индивидуальностью, но никто не был, да и не смог бы быть, индивидуалистом.

Редкие свободные от заданий минуты мы проводили по-разному. Мне вспоминается такой случай. Среди разведчиков нового пополнения из батальона в начале февраля 1945 года был юноша Волков. В батальоне он воевал вторым номером ручного пулемета. Моложе меня на два года (ему шел девятнадцатый год), ловкий, смелый, молчаливый и исполнительный. Он был в полном смысле этого слова возмужавшим и мужественным ребенком. Впоследствии он был ранен и таким образом уцелел.

Однажды после неудачного поиска, измученные и в неважном настроении, мы сидели и чистили свои ППШ. Короткие реплики: «дай ершик (или протирку), где щелочь (или масло)». Однообразные возвратно-поступательные движения шомполов в ствол и обратно. В метре от меня сидит Волков. Лицо сосредоточено, и совершенно детский аккуратный влажный рот, как будто только от материнской груди. Старательно чистит автомат, молчит.

Вдруг: «Комвзвод, а комвзвод, почему, когда первому номеру попадает в голову, он даже «а» не скажет?»

Скольких же первых номеров ручного пулемета, с которыми ему пришлось лежать в бою плечом к плечу (но чуть-чуть пониже, и потому все пули доставались не ему, а первому!), он проводил на тот свет, если была установлена такая закономерность, и если его занимал ее механизм?! Вот уж опыт познания жизни…

А между тем, сам-то «комвзвод» за два года до этого тоже был вторым номером, только не ручного, а станкового, пулемета, и его первый номер тоже погиб, не успев сказать «а».

Почти еженощные бои по восстановлению положения вперемежку с ночными поисками в охоте за языками были фронтовой рутиной. Это извиняет нас за наше урчание над жратвой, тем более, что оно внезапно прерывалось из-за отсутствия утвержденного распорядка дня, а пуще всего потому, что противник иногда открывал бешеный огонь, не выяснив,

закончили ли мы трапезу. Приведу один случай. Вечер, только-только появился Пуздра. Еще не начали есть, как примчался запыхавшийся связной: срочно к командиру полка.

Картина такая. Командир полка Багян сидит за столом, а зам. командира дивизии, тот самый Гоняев, с округленными глазами набрасывается на меня и приказывает выдвинуться на полкилометра по селу и занять оборону с задачей не подпустить противника к штабу полка. Оказывается, кто-то доложил, что немцы прорвались в село и приближаются к штабу. Командир полка не согласен отпускать от себя всех разведчиков и приказывает мне проверить, в самом ли деле немцы прорвались. Гоняев орет и настаивает на своем. Багян говорит: «Ну если зам. командира дивизии решил командовать полком, то он, Багян, идет спать». Расстегивает китель. Гоняев нехотя идет на мировую, а Багян кивком головы в мою сторону молча подтверждает свой приказ. Всемером бежим вдоль нашей Липницы, никого не встречая. Наконец видим людей. Это наши соседи слева, другая дивизия. Номера не помню. Никто ничего о прорыве немцев не знает. Прошел почти час, когда мы вернулись. Гоняева уже не было, а Багян бросил: «отдохни».

Самое трудное это брать языка, или по уставу — контрольного пленного. Но и без него редкий час проходил спокойно. Как видно, непрерывного быта вовсе и не было. Пожалуй, к быту можно отнести и следующее происшествие. Кому-то пришло в голову проверить личный состав по форме 20. Так называлась процедура поиска вшей. Попробуй проверь белье зимой на переднем крае. Не получится. И проверяющему неохота идти на передний край, и раздевать людей на морозе — глупо. А вот в спецподразделениях, т. е. у связистов, разведчиков и саперов — пожалуйста. Хоть какая-то их доля возле штаба найдется. И вот в моем взводе у одного разведчика обнаружили вошь. Какой шухер был поднят! И кем? Боевыми офицерами? Отнюдь. Офицером СМЕРШа в полку. Он орал, что эти «молодые взводные подорвут всю боеспособность» полка. А поди уберегись от этих паразитов, когда ночевать приходится где попало и чаще всего на полу, когда баня — в палатке вокруг бочки из-под бензина с пылающими в ней дровами (брюху жарко — спина мерзнет, и наоборот), бывает раз в полгода, когда поменять белье — серое, застиранное, но в данный момент выстиранное — счастье. Об одной бане я еще расскажу. Но пока стоит вспомнить полевой госпиталь на ст. Тарасовка в Ростовской области… Никто не орал, что подорвана боеспособность. Между прочим здесь самое время сказать, что элементарная чистоплотность нам была отнюдь не чужда. Водой или снегом, но физиономию всегда

мыли. Остальное — по обстоятельствам: и выкупаться с мылом или обтереться снегом до пояса… А уж если было время и поблизости не оказывалось противника, то выстирать портянки, обмундирование, даже если после стирки не удавалось его высушить и приходилось напяливать мокрым, святое (и приятное) дело.

Не рассказать про быт нельзя. Но как рассказать о нем, если отделить его от боя невозможно. То ли быт вперемежку с боем, то ли — наоборот, бой вперемежку с бытом. Короче говоря, быт постоянно прерывался такими досадными происшествиями, которые именовались боями, отодвигавшими все, что мы привыкли относить к быту, далеко и надолго.

Теперь читателю должно быть понятно, почему огромная сковорода вспоминается как замечательное светлое пятно. Кстати, в том блиндаже с фаустпатроном сковорода не появлялась. Термосы на вьюках, а то и за спиной на лямках. Словом, как у всех.

Подчеркнутая непривлекательность некоторых эпизодов фронтового быта очевидна. Не сказать о них, замазать тяготы воина, сверх предела напрягавшего все свои жилы — значит, намеренно приукрасить фронтовую жизнь, полную невзгод. Однако, нельзя не сказать о главном. Если нет возможности уберечь каждого бойца от смерти в бою, то максимально уберечь его, живого, от изъянов жизнеобеспечения было одной из важнейших забот начальников всех степеней. Боец безошибочно чувствовал неподдельное радение о нем отца-командира. И чем ближе к бойцу офицер, тем его забота теплей и конкретней.

Всегда ли удавалось вовремя накормить и обогреть бойцов? Отнюдь нет.

Бой мог задержать доставку пищи и надолго. Кому бы мог придти в голову бред отложить бой на время кормежки!?

Но взводный или ротный заведомо не могли позволить себе открыто или тайком услаждаться жратвой, если их подчиненные еще не накормлены. Невозможно представить себе, что ты спокойно взираешь на судорожно движущийся кадык глотающего слюну голодного бойца, стоящего перед тобой, жрущим. И что он в это время про тебя думает? И каким твоим сподвижником в бою он будет после этого! Может быть, и случались такие вывихи, но они были вне войсковой этики.

Во время перегруппировки войск перед зимним наступлением дивизию в полном составе на «студебекерах» под тентами перебрасывали с севера Венгрии на север Словакии. Мой взвод занимал одну машину. Колонна двигалась планомерно весь световой день, своевременно проходя рубежи выравнивания.

Единственная и неизбежная пауза в движении длилась точно пять минут.

После утренней каши с тушенкой каждый военнослужащий получил на время марша паек: килограмм вареной говядины и буханку хлеба (эх, всегда бы так!). Мне достался такой кусок подбедерка, что я помню его до сих пор, и именно с того дня я полюбил сваренное без всяких приправ и ухищрений мясо.

К месту вспоминается, как мы готовились к зимнему наступлению (хотя мы тогда и не знали, что оно будет так называться). После автомобильного марша полк расквартировался в деревне, что на шоссе между Гуменне и Медзилаборце. Каждое утро после завтрака я уводил взвод на тактические занятия. Мы тренировались в захвате языка. Захватим языка (раза три от завтрака до обеда) — и перекур. А вокруг заросли терновника. Ягоды тронуты морозцем. Зимой на войне, хотя и вне боя — кисло-сладкие ягоды. Вот уж отводили душу! Как дети…

Когда вспоминаю редкую тихую ночь, прорезываемую автоматной чечеткой, почему-то приходит в голову, что от того февраля 1945 г. до конца войны оставалось менее трех месяцев. Этого никто не знал, и никто не считал дней. Это не имело никакого смысла. Я думаю, что это от того, что погибнуть ты мог в любой момент, а этих моментов был континуум. От февраля до мая была еще такая даль!

Не слишком ли часто я вспоминаю про возможность гибели, не есть ли это признак преувеличенной заботы о своей собственной плоти?

Забегаю вперед. За три дня до конца войны мы завязали бой за г. Оломоуц в Чехословакии. К вечеру 8 мая мы овладели им. Наутро объявлена Победа, о чем в начале боя мы и помыслить не могли. Три дня ожесточенного боя с потерями и еще черт знает чем были забыты мгновенно. Личное переполнявшее душу восторженное резюме всех, с кем я воевал или впоследствии беседовал, было: «Война кончилась, и мы живы».

И еще. Порой мною овладевает невыразимое изумление, граничащее с физическим ощущением неправдоподобия моего существования. Я столько раз мог быть убитым прямо с точным указанием именно того момента неизбежной гибели, что невозможно объяснить, почему я жив.

Патриот ли ты, если ставишь на одну доску и Великую Победу и свою трепещущую плоть. А я и не ставлю. Не продал же я Родину, чтобы сохранить свою жизнь. Но радоваться, что выполнив свой долг, ты еще и остался жить, никому не заказано.

Быть может, у маршала не было особенной радости за его сохранившуюся жизнь. Но для солдата переднего края — это естественно и не стыдно![14]

В общем, никому ничего не навязываю. Кто как считает нужным, так пусть и думает. А павшим — вечная память!

Раз уж упомянул слово «патриот», то как раз время сказать о патриотизме. Однажды, осенью 1943 г., в Моршанском училище вечером незадолго до отбоя к нам во взвод пришел зам. командира батальона по политчасти, ст. лейтенант Журавлев и завел беседу о том о сем, как умели профессиональные политработники, и незаметно, плавно подошел к теме патриотизма. «Вы — курсанты, в чем состоит ваш патриотизм?» На наших курсантских лицах — замешательство. Разумеется, мы все считали себя патриотами, но ответить на конкретный вопрос, в чем состоит именно наш патриотизм, не могли. В самом деле, на фронте воюют, не щадят своей крови, в тылу строят танки и самолеты, куют победу. А мы? Дармоеды! Нас кормят по девятой, курсантской, норме; это значит, что на завтрак нам полагается 20 граммов сливочного масла и белый (!) хлеб, в то время как гражданские люди по своим продовольственным карточкам отнюдь не сыты. А мы только и делаем, что наступаем на воображаемого противника, «ведем огонь» по мнимым целям, только подавая команды и не производя реальных выстрелов, и уж если стреляем на стрельбищах боевыми патронами и минами, то считаем каждый боеприпас на вес золота. Кроме того, ходим строевым шагом, чистим наши минометы и карабины и т. д. Нами одолело смущение. Мы не почувствовали за собой значимых дел! Мы инстинктивно понимали, что на одних только словах патриотизма быть не может. Либо ты воюешь, либо ты льешь сталь или выращиваешь хлеб. А если ты ни того ни другого не делаешь, то ты нуль. Конечно, замполит разъяснил нам, что наш патриотизм — в качественной учебе. От нас ждут умелого командования своими подразделениями на фронте, куда мы скоро отправимся, и именно учебе мы обязаны отдавать все свои силы. Мы, наконец, заняли свою нишу в общей системе патриотизма, и нам больше не должно быть стыдно нашего «дармоедства». Свой долг мы отдадим, и очень скоро.

Таким образом, главное, что стало подчеркнуто точным: патриотизм — в деле. Либо ты действительно патриот, и тогда ты по-настоящему делаешь свое дело, не нуждаясь в словесном аккомпанементе к своему патриотизму, либо ты работаешь тяп-ляп, но тогда не рассчитывай, что тебя признают патриотом, как бы ты ни распинался в любви к родине. Всякий, кто делал и делает патриотизм своей профессией, тот гроша ломанного не

стоит. Разве что, выкрикнув раньше всех «я патриот», будет размахивать своим патриотизмом как дубиной, возомнит, что обрел власть над другими (которых он норовит обвинить уже в том, что опоздали). Трескучий патриотизм — не котируется.

Как поется в известной песне: «О любви не говори, о ней все сказано».

До какого абсурда может довести спекуляция на патриотизме, свидетельствует эпизод, свидетелем которого я был в начале восьмидесятых годов прошлого века. Несколько крепких мужчин со следами похмелья, расположившись на задней площадке автобуса, провозгласили свое кредо: «Ничего, что мы пьем! Лишь бы патриотизм был».

Есть однако у проблемы патриотизма и другой куда более серьезный аспект. У любви к родине две стороны: субъект (это ты) и объект (это твоя родина). Вторая сторона может быть матерью, а может быть мачехой.

После войны я не раз призывался на кратковременную военную переподготовку. Помню как в самом начале сбора в академии им. Фрунзе всех призванных на сбор офицеров запаса усадили на идеологическую лекцию, и лектор говорил, что когда солдатам армий капиталистических стран внушают любовь к родине, то это «большая ложь». Им, солдатам, родина не принадлежит, а принадлежит она правящему классу, богатым. Это утверждение абсолютно отвечало тезису К. Маркса: «у пролетариата нет родины.»

Когда читалась эта лекция, наша страна не была капиталистической, наш солдат и офицер мог и даже был обязан любить свою родину. Но вот теперь и Россия стала капиталистической. А я остался прежним. И что же мне делать? И какой же цепочкой силлогизмов вывести мне теперь способ и правила моего патриотического или, может быть, наоборот, тьфу ты, антипатриотического поведения?! Могут ли здесь помочь формально-логические рассуждения? Можно предположить, что упомянутый лектор в академии им. Фрунзе или его единомышленники, как раз из того слоя людей, которые сейчас принадлежат к народно-патриотическому движению. Любовь к какой родине они проповедуют? А мне, который отнюдь не жалует капитализм, какую Россию любить? Что, другой России нет?

Не писать же мне, в самом деле, трактат на эту запутанную тему.

Хотя, кое что сказать все-таки можно. А именно, моя ссылка на Маркса у иного читателя может вызвать приступ

идиосинкразии (и к Марксу, а за одно, само собою разумеется, и ко мне). Тогда, извольте, не угодно ли обратиться к В. Г. Короленко? А он, характеризуя систему отношений между различными слоями предреволюционного российского общества, писал: «Нет общего отечества». И хватит… Думайте сами… «Ходить бывает склизко \\ по камешкам иным…»

Но ведь мы, когда было время и условия, еще и читали! Письма, что шли из дому, и газеты, которые печатали и в дивизии, и в Москве. И то и другое приносил нам полковой почтальон. Я забыл его фамилию, но помню его всегда улыбавшееся лицо, сумку и ППШ. Ему приходилось пользоваться и тем и другим, хотя, конечно, вторым реже.

Письма были драгоценной собственностью получателя, хотя отправляясь на задание, их сдавали. О них не расспрашивали. Их не пересказывали, а, скорее, делились… Никакого многословия, иногда — только междометие. Все знали, однако, кто получает от родителей, таких было большинство, кто от жены — лицо серьезнело от заботы, кто от «девахи» (был такой термин). Описать подробно, какими были лица, глаза, мимика при чтении писем, можно только обладая большим талантом. Могу только поручиться, что выражение лица было таким, какого при других обстоятельствах не бывало никогда.

Зато газеты читали все вместе, наперебой комментируя, кто во что горазд. Самыми читаемыми были сводки с фронтов, «Теркин» А. Твардовского и статьи И. Эренбурга.

Я с недоумением видел недавно и вижу сейчас, как разные люди наслаждаются, созерцая в фильмах «Особенности национальной охоты (рыбалки)» характеры и поведение вечно пьяных персонажей, вроде генерала с сигарой, с его «блин, даете». Вот уж низость, восхищаться якобы «национальным характером», а на деле — потешаться над легко манипулируемыми забулдыгами. Для меня с тех самых военных лет образцом русского характера остается Василий Теркин.

Когда именно я услышал или прочитал стихотворение «Жди меня» К. Симонова, не помню. Пожалуй, это было в мой первый госпитальный период, когда нам показывали фильм «Парень из нашего города». Там Лидия Смирнова, тоже в госпитале, исполняла это стихотворение, но я воспринял фильм в целом, со всей его героикой и интригой, не выделив стихотворение отдельно. Во всяком случае, тогда я был слишком молод, чтобы оно задело меня так же, как и людей, оставивших дома жен. Зато почти сразу после войны мне попался толстенький карманного формата симоновский сборник в серой бумажной обложке. Я

читал стихи, и они сразу ложились на мою память, я их запоминал наизусть немедленно. Мне были близки этические нормы в стихотворениях «Дом в Вязьме», «Убей его», «Транссибирский экспресс», «Если бог нас своим могуществом…», «Ты помнишь, Алеша, дороги смоленщины…», «Открытое письмо» и др. Я чувствовал их моими. Для меня Симонов, безусловно, был певцом военной (а другой тогда и не могло быть) романтики и чести моего времени. Такое мое отношение к нему много лет спустя укрепилось благодаря его известной фразе «Это не должно повториться» о Сталинщине.

Слова «жди меня» имеют во мне свое наполнение. Они появились не в начале стихотворения, как у Симонова, а в конце другого, сочиненного мамой в самом начале 1941 года, т. е. на год раньше, чем у Симонова.[15] Вот оно:

Я за проволокой, в мастерской сапожной,
В грязном фартуке за верстаком сижу.
То, к чему привыкнуть невозможно,
Я в сознание никак не уложу.

Пусть рука усильем методичным
Колет шилом, дратвою ведет,
Сердце в прошлое свершает путь обычный,
В дорогое мысль стремит полет.

Вижу, ты из «Капитанской дочки»'
Вслух готовишь заданный урок,
И горжусь я, что почти до строчки
Раз прочитанное ты запомнить мог.

И во власти мастерского слова
Долго, долго были я и ты,
Мы потом в натуре Пугачева
Находили разные черты.

Ты в то утро не шалун, не дерзкий;
Был задумчив, молчалив и мил,
Сам утюжил галстук пионерский,
Аккуратно книжки уложил.

Худенькая, хрупкая фигурка,
Детских глаз сияющий агат,
Это имя озорное, Юрка,
Что ребята со двора кричат…

Пусть ты взрослый, пусть я постарела,
Разметала нас с тобой гроза.
Все же счастью не было б предела
Заглянуть в любимые глаза.

Тормошили б мы кота Мартына,
Разгадали б в «Огоньке» кроссворд,
Прежней дружбы матери и сына
Зазвучал бы связанный аккорд.

Я когда-нибудь закончу эти строфы
Радостно, близ милого лица?..
Или вихрь странной катастрофы
Все сметет до самого конца?…

Часто, часто, лежа в ночь бессонную,
Ледяную сдерживаю дрожь:
Я боюсь, чтоб веточку зеленую
Не подрезал ошалелый нож.

Я сама порою на Титанике
Реквиема слушаю волну,
Обреченные, покорные, без паники
Мы уходим медленно ко дну.

Все ж, покуда жизнь вся не измерена,
До последнего не завершилась дня,
Я ни в чем, родной мой, не уверена…
Будь здоров, живи и жди меня.

Я вовсе не собираюсь противопоставлять мамино и симоновское. У Симонова эти слова адресованы миллионам жен, т. е. общезначимы, у мамы — индивидуальны. Правда, если нет жены, призыв «жди меня» должен идти от сына к матери.

Симонов не мог не знать, что мать никогда не устанет ждать. И потому его допущение, что «поверят сын и мать в то, что нет меня» призвано лишь усилить значимость заклинания «жди меня», обращенного к жене. Воин-фронтовик сам знает, что преданность, если не сына, то матери неизбывна, надежна, и потому беспокойство может вызвать только поведение жены: предана ли и верна она.

Симонову известно также, что это беспокойство

небезосновательно, оно подтверждено в «Открытом письме» женщине из города Вичуга. «Материнский» тыл прочен и обеспечен всегда. Иное фронтовику и в голову не могло прийти. Чего нельзя сказать с такой же определенностью об остальных составляющих тыла. И поведение жены было одним из самых чувствительных элементов прочности тыла. Семья цементирует общество во все времена, а на войне — тем более. И вот именно к жене обращена мольба «жди меня». Потому и вызвало это стихотворение Симонова такой резонанс.

Что же говорить о призыве матери к сыну. Призыве таком робком и неуверенном и почти несбыточном… «Жди меня», потому что «я ни в чем, родной мой не уверена» (читай, не уверена, что погибну, хотя все идет к тому). И призыв откуда?!.. Не с фронта, а из концлагеря. Сын воюет, а безвинная мать в тюрьме. Подобных семей были сотни тысяч. Такое могли придумать только нелюди.

Но вот ведь дождался. И она дождалась тоже! А это было самое главное, потому что ей надо было не только ждать, но и выжить восемь лет в сталинском лагере. После освобождения мама прожила еще 48 лет. Все дело в том, что такое ожидание — не менее свято, чем любое другое. Во все последующие годы у меня не было лучшего всепонимающего собеседника, чем она, и не было ни с кем такой духовной близости, как с ней.

Как она, потерпевшая такое крушение, могла прожить после него еще почти полвека?! Конечно, сыграли роль ее природные задатки, но дело еще и в образе жизни: абсолютная непритязательность к условиям существования и умение довольствоваться малым. Табуретка и крохотный уголок стола — это все, в чем она нуждалась для размышлений, сочинений и приема простейшей пищи.

Каждому свое.

VI. Большая передислокация, новый участок фронта, второе ранение

Итак, к началу третьей декады февраля 1945 г. дивизия была заменена УРом, полк покинул Липницу Вельку и отправился в трехсуточный переход на новый участок фронта. Минуем уже знакомое нам Спытковице, где разместился полевой госпиталь. Вижу, как к дороге бежит Савицкий с культей вместо левой руки, улыбка во весь рот, обнимаемся и прощаемся с ним. Меньше суток прошло после его ранения, когда он стал обезвреживать мину.

Проходим и Хабувку, которую брали около месяца тому назад. Затем путь идет на север. Иорданув (ночлег, глушение рыбы в быстрой речке и роскошная пуздрина уха, угощались и штабные), Макув, Суха-Бескидска, Кальвария, Вадовице. Отсюда на запад: Ендрыхув, Кенты, Козы (а может быть, наоборот, сначала Козы, а потом Кенты; ночлег), и наконец, к вечеру, третьего дня, преодолев полторы сотни км., достигли Бельско-Бяла.

Наутро 23 февраля полк сменил 127-ю (?) стрелковую дивизию. Где в этот момент был Еременко, я не знаю, но принимать разведывательную характеристику полосы дивизии, которая теперь превращалась в участок полка, приказано было мне. И вот я, младший лейтенант, стервец такой, во-первых, потребовал у начальника разведки сменяемой дивизии, майора, чтобы он на местности рассказал и показал, где и что у противника, а во-вторых, напоследок спросил, где сегодняшние разведсводка и разведсхема. У него ничего такого не было. Я же посмел изображать непреклонность. Что больше руководило мною при этом, то ли формальные требования устава, то ли ощущение собственной значимости: мне, младшему лейтенанту, Ваньке-взводному доверено быть с майором на равных, — не знаю. Так или иначе после его выпученных глаз и фразы: «Младшой, ты что, о…л…. твою мать?!» моя непреклонность исчезла. (В обиходе младшего лейтенанта окликали «младшой», а старшего — «старшой».)

Передний край полка проходил через деревню Рудзица, что в 14 километрах от Бельско-Бяла. Штаб полка находился на восточной окраине деревни, а тылы — в Мендзыжече (по-русски — Междуречье).

Моему взводу пришлось тяжело. Наши действия всегда существенно зависели от природных условий. Еще три дня тому

назад мы находились в горно-лесистой местности, да еще покрытой глубоким снегом. Здесь же местность была открытой и слабо пересеченной, а частично и равнинной. Снег сошел. Там и сям разбросаны отдельные каменные строения. Мы их называли хуторами, а на топографических картах они обозначались «г. дв.», что означало — господский двор. Все они превращены в опорные пункты. Почти каждую ночь мы проводили поиски с целью захвата пленных, но все они были неудачными. Несли потери, устали. Была все же и польза от этих неудачных поисков. Мы хорошо изучили структуру обороны противника, и это в конце концов пригодилось в дальнейшем.

Фронт готовился к весеннему наступлению. А пока что полк находился в обороне, и покою нам не давали. Когда полк в обороне — разведчикам не сладко.

Однажды это проявилось весьма жестко. 3-го марта в полку была баня. Выше именно о ней я и обещал рассказать. Было часа три дня. Я построил взвод, и, предвкушая удовольствие (не хватало только строевой песни), мы двинулись в баню.

На нашем пути возле неприглядного деревенского домика стояла фигура в черном кожаном комбинезоне, в форменной фуражке, но без знаков различия. Рядом — мотоцикл. Властным жестом фигура молча подозвала меня. Лицо злое и сановное. Представился: зам. начальника разведки армии. Я представился тоже. Он, конечно, по нашему виду понял, кто мы. Разведчиков узнавали: уверенность в себе, достоинство. Диалог:

— Куда ведешь взвод?

— В баню.

— Х… тебе, а не баня! Вызывай ПНШ по разведке.

Взвод развернулся и ушел. Чем ребята виноваты, что их лишили удовольствия помыться?.. Пришел Еременко. Нам с ним приказано войти в дом. Сам садится за стол, мы перед ним навытяжку. Орет:

— Командующему фронтом язык нужен! Командующему армией язык нужен! Командиру дивизии язык нужен! Командиру полка язык нужен! А вам, трах-та-ра-рах, не нужен?

Мы молчим. Затем ко мне громко и угрожающе:

— Ты сколько человек потерял за последнее время?

Он не мог не знать, что здесь мы только десять дней.

Струсив и пытаясь приуменьшить потери, вместо троих, я сказал, что двоих.

— Лодырь ты!!! Мать-перемать!

Какие ему нужны потери, чтобы было в самый раз? И водя под нашими носами пистолетом:

— Если сегодня ночью не будет языка, тебя (т. е. меня, — Ю. С.) расстреляю, а тебя (т. е. Еременко) — под трибунал!

Видно, всюду в войсках армии припекло с языками, раз зам. начальника разведки армии мотается по полкам и грозится расстрелами да трибуналом.

На беду, как это бывает ранней весной, вдруг повалил снег, и за полчаса все стало белым-бело, а я за несколько дней до этого распорядился сдать белые маскировочные костюмы в обмен на летние (сейчас они называются комуфляжные, как будто белые зимние не комуфляжные). Но ведь это глупо, выдвигать снегопад причиной отмены поиска. Заикнись — такого покажут!.. Приказ есть приказ, никто его не отменит из-за снегопада, и мы пошли — черным по белому. Хоть и ночь, но все равно, а может быть, и тем более заметно. У нас на примете было одно местечко. На нейтральной полосе лощинка. Из нее наверху на фоне ночного, но светловатого неба видны силуэты. Вот и мы видим: фриц в рост копает лопатой. Укрепляет оборону, стало быть. Нам нужно всего несколько минут, чтобы условиться, кому что делать. Есть ли мины, проверить не успели. Лежим. Всем взводом. Рядом со мной, головой возле моего правого бедра — Бузько, один из моих разведчиков. Шепчемся. Вдруг разрыв. То ли заметили, то ли наугад. Мне по бедру крепко щелкнуло, как оттянутой и потом отпущенной веткой. Это был сигнал, который дал нам противник как последний шанс взять «языка». Мы ринулись, как в атаку. Пан или пропал. «Землекопа» схватили и уволокли. Только тогда я понял, что ранен. Будь другие обстоятельства, после разрыва мы бы, может быть, и ушли.

В русском фольклоре встречаются рассказы, в которых все слова начинаются на одну и ту же букву. Например, на «о». Отец Онуфрий отправился обозревать окрестности…. На эту же букву начиналась и насмешливая характеристика поведения разведчиков, всего четыре слова: обнаружили, обстреляли, обо…..сь, отошли. В данном случае, сбылось только начало тетрады.

Бузько остался лежать. Его шапку пронизало осколками, череп был исцарапан, но не пробит. Сильнейшая контузия. Мне же из всего комплекта достался лишь один осколок. Других потерь не было. Подхватили Бузько, скрутили фрица, кляп в рот, удрали к своим. Два наших ручных пулемета, что я расставил на флангах, прикрыли нас вполне успешно. Фамилию одного из пулеметчиков я хорошо помню: Сухорученко. Ввалились в блиндаж к ротному. Он матерится: нарушили его зыбкий короткий покой, теперь по его роте лупят минометы. Но ничего, спирт и консервы нашлись. Индивидуальные пакеты были.

Перевязка несложная. Когда все успокоилось, отправились «домой». Бузько несли. Я шел сам. Осколок застрял в мягких тканях, кость цела. Меня слегка поддерживали под руки. Дорога шла между раскидистых и подстриженных ветел. Редкие разрывы немецких мин, которые сопровождали нас почетным конвоем, были очень похожи на эти ветлы.

Дома я выспался. Снарядили повозку и повезли нас с Бузько в Мендзыжече, где была полковая санрота. Пуздра успел напечь нам на дорогу пирогов с мясом. Командир санроты капитан медслужбы Зуфар Мирсалимов вкатил мне противостолбнячную сыворотку.[16] Новая перевязка — и отправляют дальше, т. е. назад в Бельско-Бяла.

Высокого армейского разведчика я больше не видел и не горел желанием с добычей встать перед его очи. Пленного увел Еременко, который сам был ранен вскоре после меня.

В Бельско-Бяла утром 4 марта 1945 г. меня привезли в Х. П. Г 588. Х. П. Г — это Хирургический Полевой Госпиталь. Если кто-то заподозрит меня в выдающейся памяти, ошибется. Дело было так.

Вскоре после войны, когда я еще служил, в отделение кадров дивизии собрали наши справки о ранениях, но так и не вернули. Никто по этому поводу не горевал, так как все мы были молодыми и не заботились о будущем, которое, вопреки нашей уверенности в непререаемости закрепившихся в нашем сознании действительных фактов, будет относиться к нам с недоверием и выставит нам не одну бюрократическую рогатку.

Через 45 лет после Победы мне понадобились мои справки о ранениях, и в один морозный день я отправился в Черемушкинский военкомат, будучи уверенным, что справки хранятся в моем личном деле. Офицер третьей части, листая мое дело, говорит: «Вот Ваши справки, листы 23 и 24». Выдирает их из личного дела сует мне и предлагает расписаться в получении. Не веря в столь быстрый и простой успех, я не глядя расписываюсь, кланяясь и благодаря, благодаря и кланяясь, ухожу. Прочитать две драгоценные бумаги мне не терпится. Захожу в ближайший магазин и в тепле возле окна начинаю читать. Первая бумага — действительно справка о ранении, но не моя, а… лейтенанта Давыденко. Вторая — про меня, но не справка о ранении. Возвращаюсь в военкомат, но справку лейтенанта Давыденко у меня принять отказываются, так как «вы за нее расписались — будьте здоровы». Я потом честно предпринимал усилия, чтобы неизвестный мне лейтенант Давыденко обрел свою справку, которую нерадивый писарюга втиснул в мое личное дело. Все было тщетно. Теперь о второй бумаге. Она — ответ на запрос обо мне. Ответ из архива Министерства обороны СССР. Более

основательных и надежных сведений о военнослужащих и прохождении ими службы в армии не существует. По-видимому, благодаря социальным и прочим не зависящим от меня обстоятельствам, я оказался «под колпаком», и меня проверяли довольно тщательно, чем сослужили мне неоценимую службу.

А содержание бумаги следующее:

> «На № 54040.
>
> Сообщаю, что в книге учета офицерского состава 71 стр. полка за 1945 г. значится. «К-р взвода пеш. разв. л-нт (пр. 1 ГАРМ № 045 от 22.01.45 г.) Сагалович Юрий Львович назначен 1.03.45 г. пр. № 033 71 сп с должности к-ра стр. взв. 4 стр. роты., ранен 4.03.45 г. и эвакуир. в Х. П. Г. 588 4.3.45 г. пр. № 040 от 14.3.1945 г. 71 сп. «ОСНОВАНИЕ: оп. 60973 д.1 л.16.».

Далее следуют подписи высоких должностных лиц архива. Из этой бумаги следуют два обстоятельства: 1. Назначенный по прибытии в полк командиром стрелкового взвода 4-й роты, я по приказу долгое время так им и оставался, хотя командиром взвода пешей разведки меня назначил командир полка (но устно). Строевая часть в лице капитана Холмского это устное назначение приказом не оформила или, как это звучит на канцелярском языке, не «провела» (о чем я не подозревал, да и не интересовался этими делами совершенно). Оформление приказом состоялось только 1 марта, т. е. за три дня до моего ранения (об этом я тоже не знал). 2. Звание «лейтенант» мне было присвоено еще в январе, но несмотря на это, я фактически оставался младшим лейтенантом еще три месяца, и только при возвращении из госпиталя в апреле 1945 г. в отделе кадров 4-го Украинского фронта мне было объявлено о присвоении очередного воинского звания. Откровенно говоря, и на это я не обращал особого внимания.

Какая разница, в каком звании и в какой должности ты идешь за «языком»! Да и вообще, до канцелярских ли приказов тем, кто в непрерывных боях был в огне между жизнью и смертью?

Тем большая ответственность ложится на военных чиновников, по чьей небрежности может коренным образом измениться судьба человека, о котором будут судить не по истинным фактам его жизни, а по сухим, скудным, иногда неверным, записям в документах, да еще и при произвольной и даже недоброжелательной их трактовке.

Хотя я и упомянул, что капитан Холмской не отдал меня вовремя приказом, отвечавшим моему истинному положению, претензий я к нему не имею. В те времена мне от этого было ни

тепло ни холодно. В книгу учета офицеров 71-го полка он меня поместил, результатом чего является имеющаяся у меня на руках цитированная выше бумага, усыпанная подписями, резолюциями, и с грифом «секретно».

Не преувеличивая, скажу, что такая бумага равносильна для меня охранной грамоте. Ну а если кто-то упрекнет меня и скажет, что я, судя по этой бумаге, до начала марта 1945 г. был командиром стрелкового, а не разведывательного взвода, то я попрошу его поставить мне бронзовый памятник, так как провоевать командиром стрелкового взвода несколько месяцев вряд ли кому удавалось.

Вот к каким мыслям и словам привело упоминание аббревиатуры и номера госпиталя, в который я благополучно прибыл утром 4 марта 1945 г. с запасом Пуздриных пирогов и осколком в бедре.

Прежде чем обратиться к некоторым подробностям моего полуторамесячного пребывания в госпитале, все-таки закончу тему справок о ранениях. Бумага из архива Министерства Обороны СССР только упоминает о моем ранении 4 марта, но официальной форменной справкой о ранении не является. Для обретения именно официальных справок я обратился в Военно-Морской медицинский музей в Ленинграде, где размещается медицинский архив. Проходит некоторое время, и однажды я нахожу в своем почтовом ящике невзрачный конверт, вид которого никак не соответствует значимости его вложения. Там лежат две справки! Две мои истории болезни из разных госпиталей (один — в Пензенской области, а другой — в Польше) оказались в одном месте, сохранились и пребывали в таком порядке, что были доступны для быстрого поиска. Воинское звание, должность, номер истории болезни, диагноз. Я всем сердцем был благодарен сотрудникам медицинского архива, о чем и написал им в письме, назвав сам факт поиска и нахождения нужных мне справок фантастикой.

Посмотрите на эти бумажные эпизоды со стороны. Человек радуется с трудом обретенным бумагам, которые свидетельствуют лишь, что он — это он. И тому, что некоторые важнейшие события его жизни, хотя бы и в ничтожной мере, нашли отражение в бумажках. Сама эта мера никого не интересует. Но без бумажки тебя могут растоптать, оскорбить недоверием к тому, что составляет твое существо.

В моем личном архиве хранится еще одно свидетельство четкого и ответственного ведения дел в санитарной службе. В шестидесятых годах прошлого века я мотался с рюкзаком по главному Кавказу и однажды в конце лета с турбазы «Чегем», что

у подножья горы Тихтинген в Кабардино-Балкарии, отправился через Твиберский перевал в Верхнюю Сванетию.

А в конце сентября уже в Москве получил письмо в фирменном конверте с надписью:

ВЦСПС, Кабардино-Балкарское.
Областное Туристско-экскурсионное Управление.

Я подумал, что, быть может, за мной числится какое-нибудь казенное полотенце, но нет. Вот содержание письма:

«Уважаемый товарищ такой-то. Ставим Вас в известность, что на турбазе «Чегем» взбесилась кошка. Если в период с 8 по 26 августа с.г. Вы имели контакт с кошкой или котятами, просим Вас немедленно обратиться в ближайший пастеровский пункт для профилактических прививок.

Директор турбазы «Чегем» Крицкий.»

Контакта с кошкой я не имел, но директору Крицкому низко кланяюсь. Думаю, что такое письмо было отправлено в несколько сотен адресов.

Могу ли я надеяться, что отсутствие знакомства с взбесившейся кошкой как-нибудь поможет мне в жизни. Жаль, что бумага не из Архива Министерства обороны.

VII. Госпиталь, весна 45-го

В Х. П. Г. 588 после санобработки без промедления — операция. Врачи — две молодые женщины — проворно, ловко, точно, быстро, обращаясь со мной, как с мячиком, сделали все, что полагалось, рана стала 14 на 4 см., хотя осколок извлечен не был[17] и два санитара перенесли меня на медвежьей шкуре в палату. На следующие сутки в том же Бельско-Бяла меня перевезли в другой госпиталь (а Бузько — в глубокий тыл). В большой палате нас было только двое. Младший лейтенант, танкист стонал и был плохим собеседником.

На тумбочке возле кровати росла горка пайковых сигарет (20 шт. в день), на каждой без аббревиатуры было написано: «Сигареты интендантского управления 4-го Украинского фронта». От скуки я закурил, впервые в жизни. Палата поплыла, закружилась, но именно в тот момент я лишился девственности некурящего на целых 27 лет.[18]10 марта рано утром палата проснулась от сильнейшего артиллерийского гула. До переднего края было всего 14 км. Началась артиллерийская подготовка, а за ней и наступление, которое оказалось крайне неудачным. Подробно о нем написано у маршала Москаленко, и не мне, лежавшему на госпитальной кровати, комментировать его. К полудню наша палата наполнилась ранеными, в том числе и из моего полка. Так началась Моравско-Остравская операция.

В середине марта, когда я уже стал сидеть и передвигаться, меня усадили рядом с шофером в «Студебекер» и повезли в Новы Сонч. Предстояло проехать 150 км. Стары Сонч я проходил во время зимнего наступления, а в Новы Сонч, который находился неподалеку, быть еще не приходилось. Три часа пути в полускрюченном состоянии — чтобы вытянуть правую ногу, надо повернуться на левый бок — меня довольно-таки утомили. Куда приятней было рядовым и сержантам путешествовавшим в кузове на тюфяках. Всю дорогу травили анекдоты и хохотали (под конец, правда, заснули). Но мне, единственному офицеру, решили предоставить привилегию и втиснули в кабину, а я сразу и не сообразил, в чем дело. Ходить мне тоже было еще трудно, но через час после прибытия во фронтовой госпиталь легко раненых (ГЛР) стало и ходить легко. Положили меня на стол. Женщина-хирург осмотрела рану, приказала сестре ее обработать, а затем схватила мое мясо обеими руками, сблизила края раны, и сестра заклеила рану пластырем. Так она быстрей затянется, и я снова буду возвращен в строй. Я пошел сам, правда, еще с палкой, в палату.

Десять двадцатилетних младших лейтенантов в одной палате. У всех ранения легкие (не полостные и без повреждения костей). Обмундирование не отобрано. Дырки в заборе, огораживающем территорию госпиталя, имеются. Весна. Солнце. Тепло. В военторге литр спирта — 560 рублей, то бишь злотых, которыми нам платили на территории Польши. Госпитальный двор большущий, тепло все зеленеет, а из репродуктора, что на столбе посреди двора, несется: «Парнишка на тальяночке играет про любовь…»

Госпитальный финал наступил скоро и не только из-за того, что легкое ранение легко и вылечивается, но и из-за упомянутой выше цены на военторговский спирт. Однако сначала я вернусь к январской атаке на гарнизон г. Рабки.

Захваченных пленных надлежало обыскать. Главная цель — документы с обозначением номера части. Отъем наручных часов и зажигалок был не в счет: обычно это были дешевые и некачественные изделия.

Но вот у одного пленного я обнаружил незнакомые мне денежные знаки. При ближайшем изучении они оказались американскими долларами. Было пять бумажек по пятьдесят и еще мелких бумажек на двадцать долларов. Особого значения я этому не придал, тем более что никакого вкуса к валюте у нас от роду не было. Это в последние годы при виде долларов то ли глаза вылезали из орбит, то ли раздувались ноздри. Тогда же эти несколько мелких купюр не могли произвести впечатления. Немец сказал, что он отобрал деньги у поляка в Закопане, а я положил их в карман гимнастерки. Как-никак — а трофей. Потом они перекочевали в мою полевую сумку, которая валялась в «обозе».

Бои продолжались, деньги, не имевшие никакого смысла, были забыты.

Однажды, когда после большой передислокации мы, как помнит читатель, оказались в районе дер. Рудзица, нам повстречалось замечательное стадо гагастых гусей. Они паслись на небольшом хуторке, который, находясь вблизи переднего края, закрытый рощей, чудом не подвергался обстрелам, чем мы и пользовались при своих передвижениях. В конце февраля в тех краях основательно пахло весной, и гусям, как и их хозяевам, это было на руку. Гуси производили удивительное впечатление. Все в этом месте целиком зависело от войны. Но только не гуси! Им на нее было решительно наплевать. Эта независимость каким-то образом возбуждала гастрономическое влечение к ним. Однако поступить с гусями, как герои Ремарка на западном фронте, когда

там было без перемен, мы не могли. Мои разведчики знали, что этого я им не позволю. Кроме того, даже ничего не зная или не помня про три раздела Польши, мы неосознанно ощущали их последствия, равно как и последствия бурных и разнообразных соседских отношений более поздних времен, поддерживавших определенную дистанцию между местным населением и его освободителями, даже в атмосфере необычайной взаимной любви двух народов.

Поэтому мы не могли рассчитывать на ликование хозяев гусей в случае их безвозмездного отчуждения.[19] Ни польских, ни советских денег у нас в тот момент не было, и мы купили три крупных гуся за доллары: по трешке за штуку. Пуздра приготовил их отменно, и таким образом, из реквизированных в январе в Закопане долларов девять уже в феврале вернулись польскому народу.

Между прочим, должен признаться, что не все в нашем поведении было абсолютно корректно. Часть домов Рудзицы находилась на нейтральной полосе. Жители покинули их. Однажды в предутренней темноте мы выдвинулись за наш передний край и пробрались в один такой дом, чтобы днем было поближе наблюдать за противником и выбрать объект для нападения. Получилось так, что нам пришлось просидеть в укрытии не только день, но и всю следующую ночь, а значит, и еще целый день. Вопрос о пище возник вечером, на Пуздру надежды нет. Однако часа через два после наступления темноты я почувствовал запах вареной курятины. Все было просто: знакомые нам Вася Косяк и Волков незаметно не только для немцев, но и для меня, еще засветло поймали за домом нескольких кур, которые там бродили во множестве. Как правильно рассудили мои ребята, всплеск кудахтанья ночью, когда курам надлежало спать, смог бы привлечь внимание противника. А днем куры и так кудахчут. Поэтому откладывать охоту на кур было нельзя. Предусмотрительность, и не в последнюю очередь относительно еды, была нашей безусловной добродетелью. А что в первую очередь? Оружие и снаряжение. Ничто не могло заставить разведчика забыть о них. Он лучше всех знал, что малейшее пренебрежение ими стоит жизни.

Поймав кур, оставалось только разжечь огонь. Дым скрыла темнота. Что же нам оставалось делать с вкусной и здоровой пищей? Съели с удовольствием.

Дотошный читатель может спросить, а что, если бы охота за курами нас демаскировала? Ну, конечно, о последствиях легко догадаться. Спроси Волков с Васей у меня разрешения на проведение задуманной операции — ни за что не разрешил бы.

Они это знали и потому, нарушив дисциплину, самоотверженно взяли инициативу на себя. Что же должен был сделать я, когда затея обнаружилась? Проявить волю командира и наказать! Но обнаружилась затея только тогда, когда завершилась удачей. Может быть, мне надлежало устроить лицемерный воспитательный сеанс, или принципиально вылить варево на помойку? Не окончательным же идиотом я был, чтобы в каждом штопаном носке держать по принципу, а потому ограничился мимикой. Платить же за кур было некому. О, на какие только компромиссы ни приходилось решаться… И этот не самый трудный.

Остальные деньги были возвращены Польше в апреле, и вот как это было. Потратив за пару часов на доступные нам традиционные удовольствия полученные у госпитального начфина свои гвардейские и полевые деньги, мы, молодые офицеры, начали изыскивать дополнительные резервы. Вот когда в дело пошли залежавшиеся в моей сумке доллары, про которые я, честно говоря, забыл! Вечером перед отбоем все было решено. У нас не было ни малейшего представления о каком-нибудь обменном курсе доллара. Всем руководила интуиция и жажда поскорее реализовать многообещающий замысел. Утром, сразу после обхода, мы гурьбой тайком смылись в город, а к обеду вернулись с очень солидным количеством спирта и разнообразными закусками, купленными на рынке: салом, домашними колбасами и даже хорошо сохранившимися прошлогодними яблоками.

И пошла писать губерния…

Все остальное доступно человеческому воображению. И потому, надеюсь, без особого изумления читатель воспримет факт досрочной выписки за хулиганство восьмерых из десяти, в том числе и меня. Госпитальные проделки не были подсудны военному трибуналу. Поэтому суждение «дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут» было трезвым и вполне реалистичным.[20]

Все-таки следует отдать должное гуманности госпитального начальства, которое учло недостаточную для выписки затянутость ран у двоих, и оставило их долечиваться. Это даже великодушно, если принять во внимание непосредственный повод к такой экстраординарной дисциплинарной «медицинской» мере.

Представьте себе начальника госпиталя, майора медицинской службы, который с небольшой свитой совершает после отбоя обход заснувших палат. Дверь очередной палаты он открывает сам, так как идет впереди всех. И вот, после продвижения в

палату всего на полступни, продвижения вполне деликатного и осторожного (будить ран-больных жаль) — майор медицинской службы оказывается под градом падающих на него банок из-под американской свиной тушенки, грязных вилок и ложек. Банки были осторожно поставлены на верхнее ребро слегка приоткрытой двери. Как только дверь, открывающаяся внутрь, начинает двигаться, все летит вниз. Даже если бы банки были наполнены той самой американской тушенкой, все равно ощущение не из приятных. Но ведь в банках находились разбавленные водой остатки супа и каши. И все это в один момент оказалось на голове, погонах и кителе начальника госпиталя. Да вдобавок еще какая-то сестричка из свиты позади всех неосторожно хихикнула…

Никакие наши уверения, что этот фокус был направлен не против него, а против одного из нашей десятки, повадившегося в самоволки к паненкам, начальника госпиталя не смягчили. Не помогло даже такое, казалось бы, неопровержимое, доказательство: «Товарищ майор, Вы только вчера проверяли нас. Мы и предположить не могли, что сегодня Вы опять захотите нас навестить».

Хорошо известно, что не только «летом лучше, чем зимой», но и что в госпитале лучше, чем на передовой. И нашим единственным слабеньким утешением было то, что настоящий виновник происшествия, самовольщик, был выписан вместе с нами.

Эпизод с долларами, конечно, малозначительный. Мой трофей не шел в сравнение с вагонами и, даже железнодорожными составами, напичканными трофеями больших начальников. Я не видел в этой «валютной» истории ничего предосудительного и даже в те времена, когда за валюту могли упечь в тюрьму, рассказывал про наши госпитальные развлечения в кругу своих коллег-сослуживцев.

У кого поднимется рука порицать залечивающих раны парней, которые, дорвавшись до воли, перед отбытием из госпиталя снова на передовую, где каждый из них может завтра сложить голову, вдесятером пропивают добытые в бою две с половиной сотни долларов.

Прежде чем оставить воспоминания о городе Новы Сонч, не могу отказать себе в удовольствии рассказать о посещении концерта в доме (или клубе) двух партий: PPR и PPS (Польская партия работнича и Польская партия соцалистична, потом они слились в PORP — Польскую объединенную рабочую партию). В

первом ряду сидел начальник гарнизона, полковник. Его свита и остальные тыловики резко отличались от нашего брата как обмундированием, так и некоторой холеностью. Половину зала занимала местная публика.

Не буду обижать художественную ценность концерта, тем более что устроители концерта на нее, по-видимому, не претендовали. Зато два номера мне запомнились, и несмотря на всю их скабрезность, воспроизведу их, как смогу.

На сцену выносится стол, на котором стоит застывшая в неподвижности, как манекен, молоденькая паненка в короткой юбчонке. Выходят ведущие концерта, он и она.

Он:

— Цо то есть?

Она:

— То есть лялька (т. е. кукла).

Он обходит стол со всех сторон, разглядывая, что под юбкой. Запускает туда руку и делает слегка резкое движение, имитирующее вырывание волоса. Затем, якобы растягивая волос двумя руками на значительное расстояние, убедительно заявляет:

— Уадна лялька!

Звук «л» произносится твердо, по-польски: «Ладна лялька».

Зал гогочет. Второй номер — загадка. По-русски она звучит так: «Два конца, два кольца, а посредине гвоздик». Это ножницы.

Он загадывает ей загадку и предлагает отгадать. Она не может и торопит его:

— Цо то есть, пан?

Он:

— То я.

Она: —??

Он, проводя левой рукой от подошвы правой ноги вверх мимо живота, заканчивает движение тем, что сгибает левую руку в локте и упирает ее в бедро:

— Една паука (т. е., палка) — едно колечко.

Затем делает то же самое, поменяв местами право на лево, и произносит:

— Длуга паука — длуго колечко.

Она (удивленно):

А где же гвуздь?

Публика хохочет, уверенная в своих детективных способностях, а он, погрузив руку в карман, тянет ее вдоль ноги к самому полу, накаляя ожидания. Наконец он извлекает из кармана здоровенный ржавый гвоздь. Зал неистовствует! (Точно так же, как сейчас море зрителей с лоснящимися физиономиями лабазников хохочет в зале, откуда по телевидению транслируется

выступление очередного эстрадного пошляка.)

Имея к тому времени некоторое знакомство с Шопеном и Мицкевичем, я недоумевал, почему в Польше, сразу после ее освобождения, преподносят прямо противоположное традиционным представлениям о ее культуре.

Другое событие оставило у меня совершенно иной след. В один из дней я был свидетелем продолжительного торжественного католического шествия, которое, по-видимому, было посвящено памяти жертв фашистской оккупации. Течение церемонии, содержание ритуала, одеяния разных монашеских орденов, отношение жителей города и их лица — все это произвело на меня неизгладимое впечатление, тем более что никогда раньше ничего подобного я не видел.

Итак, наступало прощание с госпиталем. В моей военной биографии оно было вторым. И я отдавал себе отчет в том, что оно было несколько печальным. Так или иначе предстоял переход от мира с чистыми простынями, регулярной едой и спокойным сном к бою со свистом пуль, разрывами мин и снарядов и тяготами, тяготами, тяготами.

Дня через два после того занятного ночного происшествия были готовы все документы, и в компании моих товарищей я отправился в отдел кадров 4 го Украинского фронта. Он находился в г. Рыбник. Срок прибытия — через три дня. Утром, это было в середине апреля, мы сели в типичный для тех времен дребезжащий поезд, характерный для недавно освобожденных территорий. Удобства и комфорт нас нисколько не интересовали. Вдоль пути все зеленело, было тепло, и через окна без стекол дул приятный ветерок. Фактически, я повторял свой зимний боевой путь: Рабка, Хабувка, Иорданув, Макув и снова Кальвария, и снова Вадовице. Кальвария представляет собой целую местность. Поезд идет несколько километров мимо холмов, буквально усеянных часовенками и распятиями. Когда прошедшей зимой по этому же пути мы шли маршем, я не обратил внимания на подробности пейзажа. Может быть, из-за усталости, может быть, помешала заснеженность. Но в апреле, когда холмы покрылись зеленью, и на ее фоне яркими красками сверкали, как игрушечные, разнообразные и непривычные глазу строения, — эта картина поразила меня, хотя я и понятия не имел о значении и истории этой местности. А совсем на днях я узнал, что примыкающий к Кальварии городок Вадовице, оказывается, родина Папы Иоанна Павла второго.

Еще до наступления темноты поезд прибыл на свой конечный пункт, в Бельско-Бяла. Здесь я был месяц тому назад в полевом

хирургическом госпитале. Линия фронта за это время отодвинулась на запад не слишком далеко. Моравска Острава, которая была целью наступления, начавшегося 10 марта, все еще оставалась в руках немцев. Несмотря на это, признаков прифронтового города в Бельско-Бяла стало значительно меньше. Зато только подумав о ночлеге, мы обнаружили, что находимся возле… 4-го ОПРОСа. Все мы в разное время побывали в нем. С осени, когда он был в Западной Украине, его продвинули вслед за действующей армией в Бельско-Бяла. Впрочем, он и не уходил из действующей армии. В этом была его замечательная особенность. Все его офицеры постоянного состава (непостоянный состав — это все те, кто задерживается в полку по пути на фронт не более двух недель) дорожили своим местом: и до боев далеко, и в действующей армии числишься.

Так вот, офицеры постоянного состава нас помнили. Помнили, что полгода тому назад мы отправились на передовую. Теперь они с уважением оценили, что провоевав и оправившись от ран, мы снова возвращаемся в бой. (А они все еще околачиваются здесь.) Нас приняли хорошо, накормили и уложили спать.

Так или иначе, миновав два городка — Тыхы и Пшину, мы прибыли в отдел кадров фронта. Я был совершенно покорен вниманием, которое мне там оказали. Немедленно проверили, присвоено ли мне очередное звание. Да, присвоено, и я лейтенант. Я хочу вернуться в свой полк. Немедленно выясняется, где он. Оказывается, 30-я дивизия, вместе со всем 11-м Прикарпатским стрелковым корпусом, перешла из 1-й гвард. армии в 38-ю армию (которая сама перешла в 4-й Украинский фронт из 1-го Украинского). Мне вручают предписание в штаб 38-й армии, кормят, снабжают провиантом на дорогу, и я отбываю. Разглядывая предписание, я вижу, что на покрытие расстояния не более чем в 20 км., мне отвели трое суток. Такой щедрый отдых получили и мои спутники. Мы отправляемся обратно в тыл, живем двое суток в польской деревне, пьем пиво и прекрасно себя чувствуем. И вот, никто из нас не запротестовал против того, что нас не заставили вступить в бой тотчас по прибытии в штаб фронта. Потом я понял весь «тайный» смысл происшедшего. Об этом чуть ниже.

Между прочим, можно сделать более или менее точную временную привязку тех событий. У меня в руках оказалась «Правда» с передовой статьей «Товарищ Эренбург упрощает». Автор — Александров. Не думаю, что этот номер «Правды» был слишком давнишним.

Мне встретился первый на моем пути немецкий город

Ратибор. Впоследствии он стал польским и получил имя Рацыбуж. Город был разбит. Некоторые дома еще дымились, а из многих окон торчали белые флаги. Прохожих не было, ветер по улицам гнал песок и мусор.

VIII. Я снова в своем полку. Заключительные бои. Победа

Так ступенька за ступенькой я очутился в штабе своей дивизии. По-моему, это было в Краварже, и через полчаса я доложил командиру полка подполковнику Багяну о прибытии. Это состоялось 21-го апреля в сумерках в кювете у шоссе. Буркнув, где это я так долго пропадал (будто ему не было известно о моем ранении), командир полка потребовал, чтобы я выяснил точно, откуда бьет немецкий пулемет. Только-только была форсирована р. Опава, полк вел бой значительно юго-западнее г. Опава (у немцев он назывался Тропау) за невысокий хребет, вдоль которого шло упомянутое выше шоссе. Мы обходили Моравску Остраву с севера.

Моя война продолжалась. Незаметно, сходу и без проволочек я вступил в бой. Так случилось, или как часто приходится слышать, так совпало, что взводный, который заменил меня 4-го марта после моего ранения, был ранен накануне моего возвращения в полк. А дали бы мне в отделе кадров фронта предписание прибыть в 38-ю армию на день раньше (вот он, «тайный» смысл!), он еще не был бы ранен, и я не мог бы снова командовать своим взводом. А это великое дело — снова стать командиром своего же взвода, снова оказаться среди своих.[21]

Утром мы встретились с моим разведчиком Никулиным (о нем я уже писал). Надо было видеть его мимику! Хитрющей одобрительной гримасой он реагировал на мою вторую звездочку на погонах и тут же тоже беззвучно выразил недоумение и недовольство, увидев у меня в руке сигарету. Дело в том, что все мое курево, которое мне выдавали в офицерском дополнительном пайке, как и все остальное, до ранения я, разумеется, отдавал в общий котел, как же иначе.

Теперь же я сам был курящим, и доля каждого уменьшалась. Ну ничего, и крепких наших интендантских сигарет, и слабенькой чешской «Татры», и просто табаку — хватало.

Полку надлежало овладеть деревней Мокре Лазце. От шоссе к нему по лощине шла лесная проселочная дорога. Противник сопротивлялся яростно. До конца войны, как потом выяснилось, оставалось две недели, но они были временем ежедневного тяжелейшего прогрызания обороны, прикрывавшей южное подбрюшье Рейха. Мне было приказано выдвинуться как можно ближе к фрицам и докладывать об всех замеченных изменениях их поведения. Нам это удалось. В довольно узкой нейтральной

полоске нашлось очень удобное место, в котором мы были невидимы для противника и защищены от его огня, он же был у нас как на ладони. Так прошли сутки, а в полдень меня вызвали в штаб полка. По правде сказать, очень не хотелось оставлять «тепленькое» укрытие. Тем более, что путь почти в полкилометра лежал по дороге, которую противник держал под минометным огнем на запрещение. И для чего меня вызвали? Оказывается, пришли еще февральские или даже январские ордена. Надлежало их вручить, и ради получения очередного я должен был совершить небезопасный путь. Дождавшись темноты, я со связным отправился в обратный путь. А ночью слева от нас, после короткого артналета противнику удалось отбить у 256-го полка нашей дивизии большую деревню Грабине.

Возвращать Грабине пришлось нам, и мы это с успехом сделали. Не то чтобы Грабине находилась на ярко выраженной высоте, но над окружающими полями эта деревня господствовала. В километре впереди начинался снова лес. Оба батальона прошли туда, а деревня время от времени испытывала на себе минометный огонь довольно крупного калибра. Между прочим, задача овладеть Мокре Лазце осталась за нами. Только теперь надо было войти в нее с двух направлений. Штаб полка разместился на западной окраине Грабине, в подвале приземистого дома. Разведчики прикорнули внизу, а я поднялся наверх и в угловой комнате с окном (без стекол) в виде фонаря увидел пианино. Уселся и стал бренчать что в голову придет. Минуты через две в дверях возник ПНШ-1 капитан Шулин: «Ты что… твою мать, хочешь штаб демаскировать!» И тут же из-за спины Шулина слышу голос начальника штаба: «Играй, играй; ты что, Шулин, думаешь фрицы поверят, что это в штабе нашелся м…к, который додумался в бою наяривать на пианино?!»

Мне тоже захотелось вздремнуть, ночь была совсем без отдыха. Спустился к своим ребятам, прилег и забылся. А сквозь сон слышу жалобное и уже надоевшее, занудливое: «Слива, слива, я африкос, ответь, прием». И так, раз за разом довольно длительное время. Это командир радиовзвода роты связи. Ищет батальон майора Воронова. И телефонная, и радиосвязь потеряны. Батальон пропал. «Африкос» означало абрикос, но командир радиовзвода не выговаривал «б». Так штаб полка и стал африкосом. Зато в лексиконе радиста отсутствовало ругательство на букву «б», потому что с буквой «ф» оно не звучит.

Меня дергают за плечо: «К командиру полка». — «Найди батальон, не найдешь — пеняй на себя». Как будто потерял батальон я лично. «Уточни, в 23.00 артналет, и — в атаку. Взять Мокре Лазце».

Темнеет. Два разведчика, телефонист и я идем пока по проводу. Доходим до обрыва и второго конца найти не можем. Рыскали-рыскали. Наконец наткнулись. Но не на второй конец провода, а на батальон! И где! Батальон занял без боя Мокре Лазце. «Но скоро артналет», — буквально обжигает меня то, что сказал командир полка. Уже на ходу пролепетав две фразы по этому поводу майору Воронову, бегу с ребятами (кроме телефониста) в обратный путь. Хлюпающая, набухшая от дождя пашня, шуршание очередной мины и следующее за этим падение ничком, близкий разрыв и шлепание падающих крупных осколков. Скатившись в подвал к командиру полка, не могу произнести ни слова: сердце — в горле. Все-таки отменить артналет успели вовремя.

Этот эпизод всплыл в памяти только лет через тридцать пять после того апреля. Тогда одна из газет рассказала о похожем случае, отметив его значимость. Для нашего брата это было обычным, не заслуживающим внимания делом. Противника не встретили, не стреляли. Стреляли по тебе? Так ведь жив. Черновая работа. Подумаешь, побегали лишку!

Начинало светать, когда и командир полка, и весь штаб, и мы уже были в Мокре Лазце. Километрах в полутора на железнодорожном тупике — лесопилка. «Выбей их оттуда». Я все чаще получаю такие приказания, если в подходящий момент оказываюсь под рукой у начальства (дело в том, что динамика боя ошеломительная, и легче обойтись «подручными средствами», а не связываться с батальонами и терять на этом время). Выбили. Немцы на той стороне каньона, за железнодорожным полотном. Сюда им не вернуться из-за нашего заградительного огня, но и они устраивают бешеный артиллерийский огонь, который заставляет нас воспользоваться помещением со стрелкой вниз и надписью «LSR» возле двери: Luftschutzraum — бомбоубежище. Там несколько женщин и детей. На их лицах ни капли испуга. Улыбки и приветливость. Говорят, что эту аббревиатуру «LSR» они, чехи, расшифровывают иначе. Я забыл (и не могу вспомнить до сих пор), как точно это звучит, но смыл такой: скоро придут русские. Вот и пришли. Эта встреча с мирным населением Чехословакии не первая. Ведь была вся Словакия поздней осенью 1944-го и потом зимой. Но эта, так у меня запечатлелось, стала особенной и положила начало каким-то особенным представлениям о чехах. Надо было видеть эти глаза в полумраке убежища. Они говорили нам, что пришли долгожданные освободители, что только они и заслуживают интереса и внимания, это и есть главное и замечательное событие, а эти фрицы с их артиллерийским огнем — ведут себя, как назойливые

мухи.

Море любви, доброжелательства, доброты, участия, готовности помочь. Искренность необычайная. Какие улыбки! И это было всюду. И на всем пути до Праги и обратно в июне и июле 1945 г. Забегая вперед, я вспоминаю трехдневный заключительный бой за Оломоуц. Особенно ожесточенным был день 8-го мая. Но чехи, несмотря на огонь, улучали любую возможность помочь, угостить, подкормить, когда мы, продвигаясь от дома к дому, брали город. Радушие неподдельное. А потом, начиная с 9 мая и все дни от Оломоуца до Праги, звучало непрерывное «наздар». Это были лучшие воспоминания всей моей жизни. Я долго называл Чехословакию страной моей юности.

Когда все это в августе 1968 г. было оборвано, меня обуревали горечь и сожаление. Я думал, как же нужно было нам вести себя потом в Чехословакии, чтобы за двадцать лет так испохабить отношения между двумя народами и вызвать к себе такую ненависть.

В те дни августа я снимал комнату в поселке Неменчине к востоку от Вильнюса и каждое утро уходил на лесное озеро Геля. В лесу удобно было слушать западное радио, рассказывавшее о событиях в Чехословакии. В первых же передачах сообщалось, что при пересечении границы с ГДР под одним из танков войск вторжения провалился мост через неширокую речку. Чехи немедленно окрестили его мостом советско-чехословацкой дружбы. Мне так понравилось это остроумное язвительное определение, что через неделю при возвращении домой я не удержался и рассказал про «мост дружбы» двум случайным попутчицам в купе поезда Вильнюс-Москва. Вот уж надо было видеть высокомерное презрение на их лицах: «кто же ты такой и чем восхищаешься?»

Справедливости ради я обязан подчеркнуть, что годами складывавшиеся отношения между учеными нашего института и чешскими коллегами в моей области исследований остались неприкосновенными, т. е. по-прежнему теплыми и доверительными.

Взаимные встречи и семинары продолжались, статьи в журналах публиковались. Я помню, как однажды сотрудница института математики в Братиславе рассказывала мне в Москве, что ее младший брат, оканчивавший среднюю школу, заявил об отказе заниматься русским языком. «Я сказала ему, что русский язык — это язык Пушкина и Толстого, а не только Брежнева и Косыгина». Это было сказано, хоть и с надрывом (а как же иначе!), но с убежденностью, достоинством и превосходством над

теми, кто устроил чертовщину с вводом войск. Говоря так, она (не без оснований) доверяла мне, и я ей благодарен…

Итак, шли последние дни апреля 1945 г. На каждом фронте были свои заботы. Если у маршала Жукова шло грандиозное сражение, втянувшее в свою воронку массу живой силы и техники, то у нас шло методичное преодоление отчаянного сопротивления противника, прогрызание каждого оборонительного рубежа, создаваемого перед любым удобно расположенным населенным пунктом, на любом выгодном элементе рельефа. Рывок вперед, затем залегаем под бешеным огнем, затем быстрая и эффективная организация артиллерийского подавления очага сопротивления. Снова рывок до следующего рубежа, где противнику удается зацепиться, и т. д. Продвигаемся не более 3-х — 5-ти км. в день, в основном — без танков. Таков ритм заключительного наступления нашего полка (думаю, что всех войск 4-го фронта). Вот населенные пункты, через которые мы шли: Будейовице, Лубояты, Альбрехтице, Юловец, Хохкирхен, Билов, Биловец, Штернберк, Шмейль. Они у меня перед глазами в двух видах: на местности (т. е. прямо передо мной, и я в них) и на топографической карте, все листы которой я вижу до сих пор со всеми подробностями.

Последние десять дней боев отложились в памяти час за часом. Остановлюсь только на трех эпизодах.

29-е апреля. Вторая половина дня. Все управление полка залегло на опушке леса. Никакого пространственного разделения на НП, КП и штаб полка нет. Впереди на пологом холме — Лубояты, которые мы никак не можем взять, а вдоль опушки передается дивизионная газета, на первой полосе которой, внизу сообщается о том, что Гиммлер затеял сепаратные переговоры с нашими союзниками о перемирии. Это производит впечатление. Забрезжил конец войны, к которому ой как хочется остаться живым.

«Воронов! Что же ты не атакуешь?!» — негодует и настаивает Багян. «Мешает пулемет, дайте-ка вот туда и туда!» — Воронов бережет людей, просит и огнем помочь и атаку оттянуть. А между тем приближается время, когда в полк явится начальник оперативного отделения штаба дивизии майор Галканов и будет кочку за кочкой, куст за кустом, сверяя карту с местностью, проверять, выполнил полк, или нет, задачу дня.

И так бывает к концу каждого дня. И выполнить задачу дня — закон. И взять Лубояты — кровь из носа. И согласно дивизионной газете затеваются сепаратные переговоры, а значит близко, очень

близко… А что близко? Даже подумать боязно, хотя очень хочется… И так не хочется быть убитым!.. И скоро явится майор Галканов, а Воронов не атакует и все тут.

Начальник штаба майор Гуторов мне: «Разведчик, бери ребят, пошли поднимать пехоту».

Что было дальше, пусть каждый досказывает себе сам, но Лубояты были взяты до появления майора Галканова. Только, находясь позади пехоты хотя бы на метр, ты ее не поднимешь и Лубояты не возьмешь. Он, бедняга рядовой, лежит и ему страшно подняться: ведь немцы запросили мира. И ты это понимаешь, и в данный момент он живой, а поднимешь — может быть, убьют. И тебе тоже не хочется быть убитым. Но ты мечешься по цепи. И видишь, что тот, которого ты заставил подняться, снова залег. И будь проклято это занятие.

На следующий день фронт взял Моравску Остраву. Мы в двадцати километрах к северо-западу.

«Всем взводом вперед, пока не встретишь противника!» И мы идем вперед от одного строения к другому, на карте они, как водится, помечены «г. дв». Мы не встречаем никого — ни противника, ни местных жителей.

Не проходит и часа, как вдруг откуда ни возьмись на нас мчится немецкая легковушка. Инстинктивно, не раздумывая, без команды — пара гранат, автоматы в упор, и у нас в руках штабной майор 4-й горнострелковой дивизии СС. С портфелем. А в нем карты и документы. Срочно отправляю добычу в полк. Говорили, добыча пригодилась.

Вскоре нас догоняет один из бойцов комендантского взвода. Полку изменили задачу. Во второй половине дня мне приказывают измерить глубину Одры. Это Одер, в тех местах его верхнее течение. Западнее Остравы в него впадает Опава, а мы намного южнее. Были севернее Остравы, а теперь — юго-западнее. Только полезли в воду, как задача снова меняется. Выбили немцев из Альбрехтице, но оставшийся здесь и засевший где-то снайпер выбивает наших по одному. «Найти!» Нашли, захватили, привели. Получил свое. Не оставайся в нашем тылу, не вреди!

Снова сместились вправо. Билов и Биловец. Опять вправо. Юловец. Из него на Хоххирхен. Дальше не пробиваемся. Снова вправо, в обход. Притом ощущение такое: «Сопротивляешься — черт с тобой. Обойдем». Идем всю ночь. Дождь и слякоть. К утру взяли Штернберк, и день прошел спокойно. А на утро началось…

Про действия 1-й и 38-й армий в целом я могу прочитать в книге маршала Москаленко «На юго-западном направлении». Про действия 11-го Прикарпатского стрелкового корпуса и 30-й

Киевско-Житомирской стрелковой дивизии там же рассказывается лишь местами и очень скудно. Что уж говорить про наш полк! Когда я пишу о моих боях, я на ощупь накладываю их на общий фон упомянутой книги и радуюсь, находя для себя точное место в общей системе армейского дневника Моравско-Остравской и Пражской операций.

Так вот, что я имею в виду, говоря «началось». 4-го мая на самой окраине Штернберка, на чердаке дома лесничего расположился НП полка. Там командир полка подполковник Багян, командир дивизии генерал-майор Янковский и командир корпуса генерал-лейтенант Запорожченко. Именно в таком порядке, если считать от переднего края, они стоят в затылок друг другу и общаются только с непосредственным соседом. Это что-то да значит, когда на НП полка столько и таких генералов. Начальник штаба пока держит меня при себе, я у него на подхвате. «Слышишь, артиллерию? Это 2-й Украинский. Пробиваемся на соединение с ним», — заговорщически говорит он мне.

Вот почему здесь комкор. Мы должны пройти через Моравские ворота. Ближайший населенный пункт, в котором ощерился противник — деревня Шмейль.

В это время я вижу, как метрах в ста впереди один за другим вылетают «доджи три четверти»[22] стремительно разворачиваются, оставляя на позиции десятка два пушек, и так же быстро прячутся в своих укрытиях за окраинными домами, которые, как легко сообразить, расположены позади командира корпуса.

Удивительная картина. Раньше пехотинец старался быть подальше от пушек и пулеметов, которые для противника были предпочтительными целями, и таким образом спасал себя от огня, предназначенного именно им — пушкам и пулеметам. Да порой и сами пушки, вернее их расчеты, чувствовали свою обреченность. Недаром противотанковую пушчонку, так называемую «сорокапятку», ее расчет называл «прощай Родина». Что уж говорить о пехотинце, избегавшем соседства с нею.

В данном же случае, как только пушка занимала огневую позицию, он, бедняга, подползал к ней поближе. Стал видеть в ней защитницу. Приданной и поддерживавшей артиллерии у полка было четыре истребительных противотанковых артиллерийских полка (ИПТАП). Займитесь подсчетом, сколько это пушек, даже если полки половинного состава.

Начался бой. В эти часы мы были как в мыле. Нас гоняли на разные фланги. Носились по открытой местности, все время увертываясь от разрывов. В одно из очередных возвращений на

НП я оказался невольным свидетелем сцены, которая была естественным следствием безуспешного прогрызания немецкой обороны на окраине Шмейль.

Генерал Запорожченко раздраженно и резко бросает стоявшему перед ним командиру дивизии генералу Янковскому: «Так дело не пойдет, товарищ генерал. Выдвиньте командира полка на шестьсот метров вперед. Пусть чувствует бой». Командир полка стоит в полуметре от комкора, но последний говорит о нем только в третьем лице. Поворачивается и, покидая НП, вдруг видит меня. По его лицу нетрудно понять, что недоволен присутствием тут какого-то лейтенанта при неприятном разговоре.

Генерал-лейтенант в сердцах неверно оценил расстояние. Шестьсот метров — это далеко за боевыми порядками немцев. Командир дивизии молча последовал за своим начальником, а командир полка тоже молчит, обводит глазами присутствующих, уверенный в сочувствии, а мне бросает: «Найди хорошее место».

Тогда я не анализировал драматизма той сцены. Сейчас я пытаюсь представить себе, что чувствовал командир полка подполковник Багян, находясь на самом острие удара и слыша себе в затылок дыхание двух генералов, своих грозных начальников. Думаю, он был бы рад выдвинуться и на шесть километров вперед, лишь бы избавиться от психологического давления в то время, когда ему надлежало свободно управлять боем.

Дальше — неинтересно. Командир полка с нами «перекантовался», как тогда говорили, из дома лесничего в сыроватую лощинку, а через десять минут был приказ оставить попытки пробиться через Моравские ворота, плюнуть на Шмейль, и снова — в обход справа.

В ночь на 5 мая взвод идет вместе с полком. Утром на привале начальник штаба:

— Добирайся, как знаешь. Деревушка Веска (на самом деле, это тавтология: Веска и деревушка — синонимы) в нескольких километрах к северу от г. Оломоуц.

— Все осмотри, встретишь нас.

Нам сопутствовала удача. На шоссе пусто. Вдруг показывается «Студебекер» с ДШК в кузове (так назывался пулемет Дегтярева-Шпагина, крупнокалиберный). Голосуем, нас всех подбирают, и мы узнаем, что наши хозяева держат путь на… Прагу. Даже срок указан, 6-е мая. Ничего не понимаю.

— До Праги 200 км. занятого немцами пространства!..

— Нам приказано.

— Ну, раз приказано, тогда дуй!

Но вот и Веска. Распрощались со «студером» и ДШК. Что с ними стало, напоролись или нет, нам неизвестно.

Полк придет не скоро. Выбираем дом с хорошим обзором. Оставляю двоих. Отправляемся к Оломоуцу. Входим в пригород, больница. Возле нее люди, и все смотрят в одну сторону. Довольно пологая высотка, вспахана, окаймлена лесом, открыта со стороны больницы. По опушке кольцом залегли местные жители с оружием разных типов. В центре пашни — закопанный немецкий танк.

Подумать только! Ничем не защищенные фигурки — против, хотя и обездвиженного, но все еще огрызающегося чудовища, которое вертит башней и изредка бьет. По одному к больнице прибывают редкие раненные, но все уверены в своем превосходстве и окончательной близкой победе.

Рассказывать про бой в городе нет смысла. Когда употребляют штамп «земля гудела», то думают, что предлагают исчерпывающую характеристику происходившего. Ничего подобного! Гудело, содрогалось, трещало, стонало и дребезжало все, что могло выполнять эти функции. Это длилось весь день 8 мая. Мысль о том, что таким может быть последний день войны, не могла даже возникнуть! От дома к дому… Падают убитые, раненых оттаскивают в подворотни и подъезды домов, а там перевязывают.

С выходом на противоположную окраину города часам к семи вечера бой внезапно затихает. Штаб полка занимает дом с внутренним двором. Тут и моя взводная повозка. Пуздра кормит разведчиков. Едят нехотя. Кто как устраиваются передохнуть и подремать. «Комвзвод, поешь», чего-то протягивает мне Пуздра. Усталый жую, не очень вникая в доносящиеся до меня слова о том, что командующий фронтом генерал Еременко кому-то предъявил ультиматум и пригрозил генеральным штурмом. В конце концов, штурм — так штурм, не впервой. И вдруг: «- К командиру полка!»

«На рассвете проверь, ушли немцы или нет». — «Есть», — хотя мелькнуло, почему бы им оставлять выгодные позиции за городом.

Тем временем знакомый нам Барышевский подобрал взводу просторную квартиру, вежливо переместив в ее отдаленную часть человек пять женщин и детей. Засыпаем мгновенно, а в три часа утра, продрав глаза, еще заспанные выходим на свое почти формальное задание. Внезапно из внутренних комнат выбегает одна из женщин. Растрепанная, радостная и возбужденная она сбивчиво скороговоркой сообщает, что по радио объявлено о

безоговорочной капитуляции Германии. Тут же выражение ее лица меняется, она недоумевает, почему я не отвечаю ей восторженными возгласами. А я под впечатлением еще не ушедшей из памяти вчерашней мясорубки, которая никак не походила на последний бой, не воспринимаю, что она говорит, тем более что в таких важных случаях единственным заслуживающим доверия источником сведений является только мой прямой начальник.

Полазив в еще не ушедшем предрассветье по нейтральной полосе и отметив у противника некоторое шевеление на фоне светлеющего неба (а больше ничего от нас и не требовалось), возвращаемся в штаб полка.

Командир полка спит, а начальник штаба, как от назойливой мухи, отмахивается от моего доклада и с очень серьезным видом приказывает мне подшить чистый подворотничок и побриться (чего я еще никогда не делал).

На мой молчаливый недоуменный вопрос, с удовольствием расстается с серьезностью и, расплывшись в счастливейшей улыбке, отвечает:

— «Война кончилась». Мы обнялись. Но забот много. Показывает приказ, из которого я помню, что огонь прекращается в 8.00 9 мая, на каждый выстрел надлежит отвечать тройным, при появлении танков быть в готовности отражать атаку, к пленным относиться гуманно, офицерам оставлять холодное оружие. «Сейчас приедет наш парламентер, начальник разведки корпуса, будешь сопровождать его на передний край». Вот для чего чистый подворотничек и побриться…

Подкатывает «виллис». Рядом с водителем молодой подполковник. Такими в моем представлении должны были быть офицеры Генерального штаба. Высокого роста, строен, подтянут, умное лицо, решителен. Он парламентер. Я сажусь сзади рядом с переводчиком. Справа у ветрового стекла — высокий шест с намотанным на него белым полотнищем.

При подъезде к переднему краю парламентер раскрывает полотнище. Останавливаемся. Никакого движения со стороны противника. На расспросы парламентера пулеметчик, с которым мы несколько часов тому назад договаривались, что в случае чего он прикроет нас огнем, отвечает: «Когда лейтенант утром приходил, немцы копошились, а сейчас не видно». Сам он только что сидел на бруствере окопа спиной к противнику и покуривал. Теперь он прячет сигарету в опущенной руке и отвечает стоя, почти по форме, зная, что война окончена, и ему нечего опасаться пули. Попробуйте ощутить этот момент, когда четыре года

непрерывно подстерегавшей тебя смерти почти мгновенно сменились победой над ней. Для меня этот эпизод до сих пор служит символом окончания войны. Утро теплое, небо синее, тишина, и мы — живы.

Подполковник озабочен, мы медленно движемся вперед по шоссе. Оно слегка поворачивает влево, и мне становится видной та его часть, по которой мы ехали из города. Километрах в полутора позади нас с такой же скоростью движется сверкающая на солнце кавалькада трофейных лимузинов с армейским и прочим начальством.

Как только стало известно от нескольких плененных нами немцев, что основные их силы под командованием фельдмаршала Шернера отказались от капитуляции и ушли еще вчера, кавалькада превратилась в экстренно действующий штаб. Организуется преследование. В основном этот образ действия предвиделся еще вчера. Вот почему с таким остервенением нам не отдавали Оломоуц, вот откуда обрывки фраз о «генеральном штурме», вот откуда предположение командира полка, что немцы могут и уйти.

К тому же в душе мне было стыдновато перед той женщиной, которой я не поверил, что война кончилась.

Само собой вышло, что мои «представительские» функции прекратились, и, оказавшись на двух самоходках СУ-76, мой взвод превратился в подвижную группу, вместе с другими бросившуюся к Праге. По пути города Литовель, Свитави, Хрудим, Колин. В пригороде Праги мы остановились 12 мая. Это было неподалеку от местечка и железнодорожной станции Чешский Брод.

Между прочим, через двадцать пять лет в составе небольшой группы я ехал поездом в Мюнхен. Наш путь лежал через Прагу. Мимо Оломоуца по расписанию мы должны были проследовать ночью. Около семи утра я вышел из купе в коридор. Поезд стоял у перрона с навесом, и прямо передо мной висело название станции «Olomouc». Я не успел выйти на перрон. Поезд тронулся. Даже нечаянное свидание с городом моей юности не состоялось. Было обидно. К тому же стало ясно, что поезд намного опаздывает. Прибудем ли мы вовремя в Прагу, где нам предстоит пересесть на поезд «Прага — Париж»? Забегая вперед, скажу, что в Праге мы только-только успели перейти с одной стороны перрона на другую и, таким образом, поездка не была сорвана. Однако опасаясь окончательного опоздания, мы основательно поволновались, следили за каждым километром пути. И вот скоро Прага, но дорога каждая минута. Медленно проплывает перрон с названием «Чешский Брод». «Юрий Львович, сколько осталось?»

— спрашивают мои спутники, зная, что с Чехословакией я знаком довольно близко (как-никак, а с востока на запад прополз и прошел всю — до Праги). «Одиннадцать километров», — отвечаю я.

Топографическая карта у меня была всегда «сотка» (масштаб 1:100000), т. е. минимальный отрезок километровой сетки на местности равнялся одному километру, и потому измерить расстояние не представляло труда. Через полминуты проплывает километровый столб с отметкой «11». Вот какие подробности удерживает память.

Итак, война кончилась. В Праге спрашивали друг друга не «из какой дивизии», а «какого фронта», так как там сошлись 1-й, 4-й и 2-й Украинские фронты.

Оглядываясь назад, я вижу, а читатель, надеюсь, со мной согласится, что моя жизнь соткана из случайностей, что я тысячу раз мог погибнуть и тогда не смог бы удивляться, как это я остался живым. Но тогда кто-то другой писал и рассуждал бы точно так же. Сказал же Окуджава: «Мы все — войны шальные дети…»

Но есть и другое чувство. Сознавать, что ты был непосредственным участником триумфального финала, и более того, приближал его своей предшествовавшей крохотной личной военной историей — большое счастье.

IX. Сразу после войны

Дальше, после 9 мая — калейдоскоп событий. Почти месяц лагерем в лесу под г. Колин к востоку от Праги. Приезд в дивизию командующего 38-й армией генерала Москаленко, который перед строем каре прокричал: «Кто ранен и не награжден?». Медали были розданы тотчас. Командиры полков устраивают приемы для своих офицеров с приглашением командиров и штабов соседей. (Помню, как в дверях зала с накрытыми столами появилась фигура самолюбивого Банюка, командира 256-го полка, того самого, который драпанул из Грабине. Все в дивизии знали, что Банюк однажды избил палкой своего полкового инженера. Гордыня так и перла из него. Остановившись в дверях, он и шага не сделал, Пока Багян не пошел ему навстречу.)

Затем длительный марш до середины июля через Пардубице, Градец Кралевский и Наход в Силезию, дальше через Варшаву к Цеханову, к Млаве в Польше. После нее начиналась Восточная Пруссия. Это было уже далеко от моей прекрасной Чехословакии, и мне хочется снова оказаться там, особенно на пути от Колина до Градец Кралевский.

Надо сказать, что пехота уже не шла пешком. Трофейных лошадей и повозок было так много, что весь личный состав стрелковых полков со всем комфортом следовал на повозках. В пешем строю с нерасчехленным знаменем мы проходили только через крупные населенные пункты, дабы показать, какие мы бравые, дисциплинированные и как мы уважаем местное население.

Главным элементом комфорта был многокилометровый зеленый тоннель, образованный смыкающимися кронами деревьев, растущих по обе стороны шоссе. Вообще, все дороги в Чехословакии обсажены плодово-ягодными деревьями. Но деревья «нашего» тоннеля были черешнями. Поэтому тоннель можно назвать красно-зеленым. Совсем недавно мы гибли в стрельбе и гари. Теперь мы легко катили на пароконных повозках по асфальту, иногда даже рысцой; наши котелки были наполнены спелой черешней, и мы, кто полулежа, а кто свесив ноги в сапогах или ботинках с обмотками, выплевывали косточки и блаженствовали!

Однажды, более чем через тридцать лет после Победы, моя пятилетняя внучка забралась утром ко мне в постель, мы ели черешню и стреляли косточками в потолок. Она заливалась хохотом, а я вспоминал черешню на чешских дорогах.

Так или иначе, но путь от тех черешен до городишка и железнодорожной станции Лик (теперь — Эльк), что находится на севере польской части Восточной Пруссии, длился почти полгода. На станции Лик мы погрузились в эшелон, который повез нас из Европы домой.

Хотя в каждом дне этого полугодичного пути можно было найти сюжет для небольшого рассказа, я не буду злоупотреблять.

В середине лета, переправившись на понтонах на правый берег Вислы, мы стали на дневку в правобережной части Варшавы, которая называется Прагой. По сравнению с ликовавшей в мае златой Прагой, эту можно было бы назвать одним словом: несчастье. Мой взвод расположился на дневку возле застарелого пожарища и вырытой рядом с ним землянкой с единственным жильцом — одиноким пожилым хозяином сгоревшего дома. Он был молчалив и не отвергал наши приглашения к столу. Однажды мы спросили у него, кто сжег его дом, немцы или русские. Он ответил дипломатично: «Немецкие снаряды летели с той стороны, русские — с той (противоположной). А тот снаряд, который сжег мой дом — с той стороны». Он указал направление, которое было перпендикулярно направлению, проходившему через его дом от русских к немцам.

В Цехануве дивизию расформировали, командир дивизии попрощался с нами из окошка трофейного лимузина. Личный состав нашего полка передали 113-му полку 38-й гвард. дивизии, которая воевала на 2-м Белорусском фронте. Моих разведчиков объединили с разведчиками нового полка, а я стал командиром тех и других. По асфальтовым шоссе почти безлюдной Восточной Пруссии мы дошли до хорошо оборудованного военного городка Шлагакруг в окрестностях городишка Арис (теперь Ожиш). Полк разместился в бывших немецких казармах.

По пути мы раза три пересекли оборонительные полосы поверженного противника. В каждой по нескольку линий траншей, проволочные заграждения в несколько рядов металлических кольев, целехонькие бетонные доты. Оборона немцев мастерски взломана, а полосы попросту брошены.

Колонну полка на протяжении всего марша по Пруссии замыкало подразделение численностью от роты до батальона. Оно отличалось отсутствием оружия и рыжим цветом обмундирования. Однажды, не помню точно этого момента, я его не увидел. Оно исчезло незаметно. Это были наши, освобожденные из плена.

Нас, командиров спецподразделений, т. е. командиров взвода разведки, саперного взвода, роты связи, роты автоматчиков и музвзвода, в городке Шлагакруг поселили на втором этаже над офицерской столовой. Коридор и несколько комнат. Поговаривали, что у немцев там был бордель. Впервые после окончания войны младшие офицеры, командиры взводов, были отделены от своих бойцов. И квартировать, и питаться стали порознь. Из своей комнатенки я стал ходить к разведчикам в казарму с двухэтажными деревянными кроватями, почти как в гости.

Жили мы, несколько офицеров, дружно. Два офицера — командир музвзвода (фамилии не помню) и командир саперного взвода лейтенант Павлов, жили вместе с женами. Акт бракосочетания официально производился командиром части. Обе жены были репатриантками из угнанных в Германию советских девушек. Павлов и я были самыми молодыми лейтенантами, и в нашем офицерском окружении нас так и звали: молодой сапер и молодой разведчик. У меня до сих пор сохранилась фотография, на обратной стороне которой Павлов написал: «Молодому разведчику от молодого сапера». Когда в декабре последнего военного года, покидая Восточную Пруссию, мы пересекали государственную границу (по-моему, это было в г. Гумбинен, теперь г. Гусев, или в Гольдапе), обе жены были сняты с воинского эшелона и разлучены с законными мужьями. Надо было видеть, как метался и горевал молодой сапер. Абсолютно хладнокровный при обращении с минами, с каким трудом он сохранял самообладание и как мучительно он подавлял в себе прорывавшийся протест против учредителей и исполнителей этого акта.

Войдя первый раз в отведенную мне довольно неопрятную, запущенную комнатушку, я обнаружил вполне исправный патефон, а в груде разбитых пластинок — единственную уцелевшую. На одной стороне была мелодия из «Лебединого озера», именно та, которая сопровождает первый пролет стаи лебедей и немного далее. Как вдруг защемило сердце: Пруссия, Шлагакруг и…Чайковский! Вот уж чего не ожидал… Хотя, что же удивительного?… И Зигфрид и Ротбарт…

«Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты». Так у Пушкина в «Выстреле». Ученья по утрам были и у нас, хотя какие это ученья… Фронтовики относились к ним, мягко сказать, без энтузиазма. Старшие возрасты вот-вот демобилизуются. Про манеж никто и не вспоминал: мы пехота, а не кавалерия. Обедов у полкового командира в наши дни не

бывало. Обедали в столовой, куда и командир полка иногда захаживал. Трактиром это заведение назвать было нельзя. Тем более жидовским, так как слово «жид» и производные от него в тогдашнем лексиконе, резко отличавшемся от гитлеровского, отсутствовали, а небезуспешные попытки восстановить их обозначились много позже.

Зато свежего мяса было достаточно. Добывали мы его в безлюдных лесах, стоило лишь перейти через дорогу. Военный городок располагался не только в районе Мазурских озер, но и почти на берегу самого крупного из них — озера Снярдвы. Полежишь с карабином в засаде десять минут — и косуля готова.

Вечера тоже несколько отличались от описанных в «Выстреле». Пунша не было. Был бимбер. Как, быть может, помнит читатель, так назывался польский самогон. Что же касается карт, то о них стоит рассказать. Не было вечера, чтобы мы не резались в преферанс. Большинство из нас, молодых, научились этой игре только-только. Тонкостей еще не освоили, играли крикливо, радуясь каждой находке. Азарт и проигрыш всех гвардейских и полевых денег были правилом. Советская составляющая денежного содержания отправлялась на так называемую вкладную книжку.

Собирались мы обычно в комнате у связистов, она была побольше других. Однажды во время пульки из суточного наряда возвратился ст. лейтенант Спирин. Он сразу, не раздеваясь, завалился спать, а мы втроем (сдающего не было), не страдая деликатностью, продолжали сражаться в прежней манере. «Тише Вы, б…, дайте спать», услышали мы. И тогда игра приняла новый характер. Во время очередного хода правая рука соответствующего партнера замахивалась так, точно в ней была не карта, а шашка, готовая пополам рассечь тело врага. После этого карта шлепалась на стол под аккомпанемент такого громкого шипения, которое не оставляло сомнения, что требование Спирина выполняется свято. С помощью означенного шипения произносилась также одна единственная фраза: «Тише, б…, Спирин спит!» Надо отдать должное Спирину. Он встал, обложил нас так, как мы того заслуживали, и сел за стол четвертым.

Не качайте укоризненно головой, не досадуйте, что такому незначительному эпизоду в офицерской жизни уделено полтора десятка строчек.

А почему, скажите, в фильме П. Тодоровского «Анкор, еще, анкор!» так смачно показано, как два офицера глушат вино под аккомпанемент диалога:

— Володя, помоги! — Помощь нужна, чтобы из поднесенного к губам стакана вино надлежащим образом прошло через глотку. Володя помогает:

— А Пантелеймон Семеныч умер!.

После этого под бульканье каждого из семи глотков произносится прямо в стакан раздельно по слогам навстречу льющейся в глотку жидкости:

— Ах, ах, ах какое горе!

А потому, что никакие другие средства, кроме вот таких, не могут показать, как отважное, сметливое офицерство с замечательным остроумием и самоиронией переносило все тяготы своей поистине тяжелейшей жизни. И в каждой локальной офицерской среде были свои изобретения и хохмы. В каждой воинской части был свой непродолжительный период офицерской вольницы. А фоном, лейтмотивом были мысли, мысли о будущем, в основном похожие: домой, к близким, учиться, работать. Похвальная, подсознательно отшлифованная четырьмя годами жадность наверстать отнятое войной. (Из разговора по поводу демобилизации осенью 45-го: «У меня мировая деваха; сейчас на химическом; мне поможет подготовиться». Он из-за парты — на войну; фактически, защищал ее; теперь уверенно на нее надеется; вот это — отношения и мировоззрение!) Это уже потом у значительной части следующих поколений свое прочное место занял принцип «иметь!».

Между прочим, почти сразу после окончания войны в офицерскую политическую подготовку входило изучение «Краткого курса ВКП(б)». В первой главе книги сообщается, что Плеханов организовал Общество освобождения труда. Так вот, это общество в нашей среде было немедленно трансформировано в Общество освобождения ОТ труда с центральным комитетом ХУГРО (х… груши околачивать). И ведь никто не настучал! А если бы настучал, то, кому не ясно, что за этим последовало бы.

А вот еще анекдот тех времен. У молодого офицера спрашивают, как он повышает свой политический уровень. Самостоятельно изучаю Краткий курс ВКП(б)». — «Сколько времени и какую главу в настоящее время?» — «Три месяца. Первую главу». — «Почему же так медленно?»

— «Как только дохожу до того места, где рассказывается, как угнетали нашего брата, рабочих и крестьян, так сердце кровью обливается, и дальше читать не могу.»

Армейский фольклор — великое дело, и вспоминать его — одно удовольствие. Одним из актуальных сюжетов фольклора военного, да и, в известной степени, послевоенного времени, был

вопрос, что такое сверхнахальство. Дело в том, что в предвоенные годы получили распространение анекдотические определения понятий: сверхскорость, сверхнахальство, сверхтерпение, сверхпатриотизм и т. д. Все эти определения относились к подростково-хулиганскому остроумию. Наиболее интересно определялся сверхпатриотизм: «Защемить гениталии дверью и петь «Интернационал». Остальные определения обойдутся здесь без расшифровки. Однако перевод определения понятия «сверхнахальство» на военный лад заслуживает внимания из-за остроты содержания: «Сидеть в тылу, спать с женой фронтовика и искать себя в списках награжденных». Разумеется, каждый понимал, что такое тыл для фронта. И конфликта между фронтом и тылом не было, но «отношения» между фронтовиками и тыловиками были: «Мы там кровь проливаем, а вы тут… вашу мать…»

Между прочим, в данное время, за год до 60-летия Победы фронтовики совершенно оттеснены со сцены памяти о войне. Весь эфир отдан в распоряжение тружеников тыла. Далекий от недооценки роли тыла во время войны, я все-таки не очень понимаю, в чьих интересах это делается. Кому это выгодно? Вспоминается анекдот семидесятых годов прошлого века, когда всячески превозносилась роль войск под Новороссиском, и принижались все остальные операции на фронтах. Это делалось в угоду Л. Брежневу, который руководил политработой на «Малой земле»: «Вы там под Сталинградом отсиживались, а мы под Новороссийском решали судьбы войны!»

Я часто вспоминаю своих однополчан, и разведчиков моего взвода, и офицеров штаба и командиров спецподразделений. Я вижу их и любуюсь ими, молодыми, улыбающимися, добрыми и умными. Это были люди высокой нравственности, и основой их поведения было сознание исполненного долга. Сознавали ли они, что и в осанке, и в поведении, и в их красоте сквозил победитель.

Невозможно даже подумать, что в подразделениях этих офицеров, ну и в моем, конечно, могла бы появиться эта пресловутая «дедовщина». Царившая тогда войсковая, фронтовая психология не могла этого допустить. Кто хочет представить себе, какими были фронтовики после войны, пусть посмотрит фильм П. Тодоровского «Был месяц май».

Вообще, многое, что происходило позже, в те времена нельзя было и предположить. Я представляю себе, что некто подошел к нам в то первое послевоенное лето и сказал бы, что нам когда-то там, в будущем, более чем через тридцать лет, определят какие-то льготы. Мы расхохотались бы и сказали, что этот некто сумасшедший. Тем более, мы удивились бы тому, что в

обиходном русском языке появится слово «льготники» с каким-то пренебрежительным оттенком. Иногда плохо скрывается неприязнь к льготам фронтовиков. И это при том, что из всех, если дело на то пошло, «льготников», только мы шли на испытания без какого бы то ни было расчета на привилегии..[23]

113-м полком командовал полковник Ястребов. Яркий, властный человек могучего телосложения, широкая натура. «Строг, но справедлив». В противоположность спокойному и немногословному, тихо-вдумчивому даже в чрезвычайных обстоятельствах, весьма деликатному командиру 71-го полка Багяну, Ястребов был громкоголосым человеком резких суждений.

Когда поступал приказ «Командиры батальонов и спецподразделений — к командиру полка», я выполнял его и с опаской, если чувствовал за собой нечто заслуживавшее порицания, и с интересом: что-то сейчас будет. Каждый такой вызов включал в себя и различные указания-приказания, и проработку за проступки или нерадивое выполнение предыдущих приказов и распоряжений.

Каждый очередной разнос какого-нибудь из подчиненных состоял из двух частей: подробной мотивировки замечания или взыскания и заключавшей ее фразы, игравшей роль гербовой печати: «Не ходи по лавке — не перди в окно». Эта фраза была призвана внушить несомненную справедливость выволочки и вполне могла считаться девизом полка.[24]

На фронте при передвижении войск соединения и части всегда оставляли опознавательные знаки для тех, кто отстал, или кому надлежало отыскать нужную часть. У 30-й дивизии таким знаком был ромб. Занятно было бы прочитать на дощечках, прибитых к столбам, деревьям, или на стенах домов надпись «Не ходи по лавке — не перди в окно». Такой вот воспитательный пароль.

Оба командира полков относились ко мне хорошо, хотя и попадало мне от каждого. Однажды, это было в конце августа 1945-го года, полковник Ястребов вызвал меня к себе одного. «Что бы это могло означать?» — думал я, приближаясь к штабу.

— Завтра утром отправляйся в командировку, в Москву, на 20 дней. Возьмешь с собой одного разведчика.

В это невозможно было поверить. Ни о каких отпусках, ни о каких командировках, во всяком случае мы, младшие офицеры, и помышлять не могли. Только-только началась демобилизация старших возрастов. Только-только мы вылупились из войны и жили еще не до конца ушедшей фронтовой жизнью. Москва

бесконечно далеко. Я в разлуке с нею из-за войны вот уже четвертый год.

Все объяснялось весьма просто. Командир полка был в приятельских отношениях с генерал-лейтенантом Чанышевым, командиром корпуса, в который входила 38-я дивизия. Оба были заядлые охотники, но, будучи хозяевами огромного боезапаса, не обладали необходимым атрибутом классической благородной охоты — охотничьими патронами, так как последние не состояли на вооружении войск. Это наш брат, младший офицер, бил косуль ради мяса прямо из карабина. Уважавший себя охотник не мог даже подумать о такой пошлости. Мне надлежало привезти из Москвы не менее двухсот охотничьих патронов. Не успев даже изобразить на лице недоумения: каким это образом я могу выполнить такое поручение, получил разъяснение. В Москве служит брат командира полка, тоже полковник, в должности начальника (или заместителя начальника) управления связи авиации дальнего действия (АДД). Он патроны и обеспечит. Таким образом, мне отводилась роль курьера, дисциплинированного офицера, которому можно было доверять. Было и добропорядочное прикрытие главного замысла: привезти электрические лампочки (сколько удастся), а также уставы и наставления для боевой подготовки.

«Доджем» до Гродно, а до Москвы — 30 часов.

Очутившись в Москве утром, я уже вечером того же дня угощался (впервые в жизни) коньяком и, смущаясь, беседовал со вторым полковником Ястребовым, который принял меня со всем радушием и старался, чтобы я чувствовал себя как можно свободнее. Он был рад посланцу от брата и не скрывал эмоций, читая привезенное ему письмо.

Мне было рекомендовано проводить время в свое удовольствие. Всему свой черед.

На следующий день я отправился вставать на учет в военной комендатуре на тогда еще Первой Мещанской. Принимая мое командировочное удостоверение, спросили, нет ли у меня секретного предписания. Секретного нет. Подождите. Через некоторое время мне выносят бумагу: «Предлагаю Вам немедленно убыть из г. Москвы и прибыть в расположение части в г. Арис в Восточной Пруссии такого-то числа сентября месяца. Основание: 1) Не указана конкретная цель командировки (еще бы, чего захотели, указать — за охотничьими патронами), 2) Командировка отпечатана на машинке, а не на типографском бланке (у нас, в нашей прусской глубинке, такого чуда и не видывали). И наконец самое главное: 3) Командировка подписана лицом, не имеющим на то права». Это что же, думаю я, генерал-

лейтенант, командир корпуса, не может послать своего подчиненного в командировку, хотя бы и в Москву?! И это еще что! Право подписи, оказывается, имеет только командующий группой войск, в данном случае — Северной, а именно маршал Рокоссовский. Совсем обалдели! Это из Восточной Пруссии возить всякую паршивую бумаженку за 500 километров в г. Лигниц (теперь — Легница)!

Что же, думаю, без рыбы и кошка рак. Двое-то суток я все-таки был дома. А патроны… Ничего не поделаешь. В конце концов можно довольствоваться и тем, что я и близких увидел, и построенную в мое отсутствие станцию метро «Новокузнецкая». Дело в том, что я родился на Большой Татарской улице (которую также в мое отсутствие переименовали в ул. Землячки, а теперь она снова Б. Татарская). В минуте ходьбы от дома была церковь Параскевы Пятницы. В тридцатых годах ее снесли и на ее месте стали строить упомянутую станцию. В начале войны во время авианалетов мы спускались туда, как в бомбоубежище, по деревянной лестнице в две с лишним сотней ступенек. И вот оказалось, что уже за год до моего приезда в командировку станция стала работать, как ей и полагалось, по прямому назначению. Мне это было и приятно и удивительно. Вообще, все изменения, происходящие в наше отсутствие, нас поражают.

Забегая вперед, сообщу, что в действительности я не только увидел новую станцию, но и пользовался ею еще целых три недели. А получилось это так.

Почти уже примирившись с предстоящим скорым отъездом из Москвы, я позвонил второму полковнику Ястребову. Услышал короткое «Завтра в 12 ко мне в управление». В назначенное время я прибыл во дворец, что в Петровском парке на Ленинградском шоссе. Врученная мне справка из АДД гласила, что я «прибыл в Москву для получения и отправки в Восточную Пруссию оборудования для стационарных линий связи». Моего воображения не хватило даже на то, чтобы поверить, что содержание справки мне не снится. Благодаря этой справке я был «зарегистрирован в г. Москве на 30 суток». Никакого отношения к связи и ее стационарным линиям моя командировка, конечно, не имела.

Вот так взламывались запреты, которыми сразу после Победы подавлялась фронтовая вольница. Бой — боем, смерть — смертью, но вперемежку с ними бывала и свобода. К сожалению, ей приходил конец.

Получив совет проводить время в свое удовольствие, такой же совет я дал моему разведчику Шеломкову, который

отправился к родственникам в Подмосковье. Шеломкову было около тридцати, на него я мог вполне положиться. Связь между нами была организована надежным образом.

Больше ничего о первом послевоенном полугодии,[25] тем более, о благополучном завершении командировки и возвращении в полк, писать не буду. Рутина. Все окончилось благополучно. Только один милый эпизод. В один из дней моего пребывания дома, когда слегка усталый я с ослабленной портупеей и расстегнутым воротником гимнастерки навзничь лежал поверх смятого покрывала на кровати, мой четырехлетний двоюродный брат лазал по мне, самозабвенно ощупывая сбрую, погоны и ордена.

«Кем ты хочешь быть?» — задал я ему бездумный и почти всегда «дежурный» ничего не значащий вопрос, на который только и способны дураки-взрослые, разговаривая с малышами. Расплывшись в добрейшей улыбке, которая не изменилась и до сих пор, он ответил:

— Тобою.

X. Мои родители, я и Сталин

К тому времени, когда в самом начале 1943 г. я рядовым пулеметчиком наступал на Ростов из-под Ворошиловграда, а мама заканчивала пятый из восьми лет отсидки, как «член семьи изменника родины», — самого «изменника», т. е. моего отца, 09.12.37 уже расстреляли ни за понюшку табаку.

После ареста родителей меня взяли к себе бабушка — мать отца, и тетя — его сестра.

Несмотря на то, что я, сын «врага народа», все время испытывал давление общества и власти и остро чувствовал свою «второсортность», а может быть, именно благодаря этому, с самого начала моей военной службы, т. е. с августа 1942 года, когда мне исполнилось 18 лет, я положил себе нести службу и воевать так, чтобы по яблоку было ясно, какова яблоня, от которой я, согласно пословице, недалеко упал. Скажу больше, я был горд, когда еще допризывником меня признали годным к строевой службе.

Во время призыва из-за моей анкеты меня и близко не подпустили к военному училищу, а отправили в запасной полк, где в кратчайшие сроки готовились маршевые роты на пополнение действующей армии.

В военкомате я безошибочно по глазам, выражению лица узнавал и многих других призывников, которых постигла та же участь. Важным признаком был контраст между уровнем образования, с одной стороны, и назначением в запасной полк, а не в военное училище, — с другой. Семилетнее образование гарантировало поступление в училище. Среднее — тем более. И уж безусловным свидетельством была интеллигентность черт обескураженного лица, подавленность и молчаливая отчужденность.

После непродолжительной военной подготовки в запасном полку нас обмундировали, и мы, несколько сотен рядовых, составлявших маршевую роту, готовились к отправке на фронт. Однако перед погрузкой в эшелон, которая на день или два задерживалась из-за отсутствия вагонов, мне пришлось кулаками отстаивать свою «драгоценность», котелок, от похищения таким же маршевиком, как и я. Дело в том, что при всей добротности обмундирования и многообразии его предметов, большой круглый котелок выдавался на двоих. Предполагалось, что во время приема пищи к держателю котелка случайным образом присоединится еще один. Каждый, разумеется, хотел быть держателем… Невесть откуда взявшийся политрук роты Ткачук,

не дав себе труда выяснить, что происходит, схватил меня за шиворот и заорал: «Ты что дерешься?! Забыл, кто твой отец! Сейчас прикажу отобрать у тебя обмундирование, и на фронт не поедешь». А драка-то!.. Укутанные в телогрейки и шинели, мы с трудом дотягивались до физиономий друг друга, и «драка» со стороны могла выглядеть только уморительной.

Угроза Ткачука была равносильна оскорблению. Каждый молодой человек почитал за честь отправиться воевать, хотя огромная вероятность быть убитым маячила перед ним неотступно и входила в противоречие с патриотическим порывом. Нельзя не сказать, что имели место две тенденции. Одни, даже имея бронь от мобилизации, писали рапорт за рапортом с требованием отправить их на фронт; другие молчаливо не отказывались и от тыловых назначений, в душе даже и радуясь этому, будучи готовыми объяснить такое назначение ценностью своей персоны.

Задержать мою отправку на фронт было не во власти политрука роты, и на фронт я уехал. Политрук Ткачук был порядочной скотиной. Он поручал мне все «Боевые листки», которые я выпускал без отрыва от тактических занятий, и лозунги, которые я писал по ночам на еловой щепе расплывавшимися красными чернилами, всегда после изнурительного дня боевой подготовки, после отбоя, когда вся рота давно уже спала. И при этом, оказывается, помнил, кто мой отец. Всякий раз, когда именно он вел роту на занятия, он лопался от удовольствия, слушая мой запев (по его приказанию) строевой песни:

«Комиссара каждый знает,
Он не молод и не стар,
Никогда не унывает
Наш товарищ комиссар»[26]

Он и тогда бдил и не забывал, кто мой отец.

Между прочим, когда мама в феврале 1946 г. освободилась из лагеря под Архангельском, ее, жену «изменника родины» вопреки всем запретам, приняли корректором в ОБЛГИЗ в 15 км. от лагеря, и директор издательства подписывал к печати книгу только тогда, когда она была вычитана мамой. При этом, в отличие от моего Ткачука, он не напоминал ей о ее положении.

Слова Ткачука настолько возмутили меня, что все внутренние запреты на протест против социальных причин моей пришибленности и ощущения второсортности были мгновенно смыты.

Ведь на самом деле Ткачуку было наплевать, поеду я на фронт, или нет. Его подлой душонке надо было еще и еще унизить меня. Быть может, в тот момент он просто был зол и сорвал злобу на мне.

Меня душила обида. Я в слезах побежал жаловаться комиссару батальона, старшему политруку (одна шпала в петлице) Сорокину. Ткачук был вызван в землянку к своему начальнику, и отойдя на два шага от землянки, оказавшись в темноте, я слышал изнутри: «Я тебя этому учил… твою мать?»

Выйдя, как ошпаренный, из землянки комиссара батальона, Ткачук споткнулся о ступеньку, увидел меня и обдал меня ненавистью.

В начале шестидесятых я рассказывал своему приятелю об эпизоде с Ткачуком и о его угрозе воспрепятствовать моей отправке на фронт. Он с едкой усмешкой заявил, что правильнее всего Ткачуку на его намерения следовало бы ответить: «Ну, и езжай туда, дурак, сам».

Не говоря уже о том, что в 42-м такая фраза была немыслима, видишь, как уже в шестидесятых и тем более сегодня изменилась психология отношения к военной службе.

Здесь следовало бы сказать о том, что такое запасной полк. Можно было бы и не делать этого, а отослать читателя к книге Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Хотя запасной полк В. Астафьева находился в Сибири, в окрестностях г. Бердска, а «мой» — в Марийской республике, они были, что называется, «один к одному».

В некоторых деталях они все-таки могли различаться. Несколько примеров. Вот трагикомический эпизод, которого в запасном полку В. Астафьева наверняка не было. В ноябре 42-го года ударили ранние сильные морозы. Полковая кухня, отгороженная от улицы фанерой, не справлялась с кормежкой такой массы людей, т. е. не могла обеспечить трехразовое питание девяти тысяч человек, и питание стало двухразовым. Вообще, еда в полку была невыразимо скудной. На обед была жидкая «баланда», в которой «крупинка крупинку догоняет». Белковое содержимое супа составляли рыбьи кости и мелкие ошметки рыбной мякоти. На второе — пара ложек каши. Есть хотелось каждую минуту. В этом был свой смысл, служба в тылу не должна быть привлекательной.

Незадолго до отправки на фронт наша пулеметная рота была назначена в гарнизонный наряд. Наш взвод назначили дежурным подразделением с задачей усиления караула на случай непредвиденных обстоятельств. Когда в землянку роты к началу позднего обеда принесли котел с супом, тут же было объявлено,

что второго блюда, а именно, пшенной каши, не будет. Врач ее забраковал, так как она «отравлена».

Хотя через два часа кашу заменили вареной капустой, возбуждение, с которым мы встретили известие об отравленной каше, трудно себе представить. Кроме разочарования голодных желудков, еще и домыслы о диверсии. Немедленно была организована охрана кухни. И эту охрану поручили нести нам, дежурному подразделению. Мы носили изношенные бушлаты и потертые буденовские шлемы. У нас не было валенок, какие полагались на штатных постах караула. Мы носили ботинки с обмотками, в них нам и надлежало охранять кухню. Вместо ватных брюк и телогреек, на нас было б/у, х/б — бывшее в употреблении хлопчатобумажное обмундирование, истертое до последней степени. Поэтому каждой паре караульных на посту у кухни надлежало стоять только по одному часу.

К перспективе мерзнуть целый час добавлялось сознание нелепости этой охраны: боевых винтовок хватало в роте только для штатного караула, и нам надлежало отгонять возможных «злоумышленников» учебными винтовками с просверленными патронниками. Наши недобрые мысли о предстоявших неудобствах этой ночи смягчались неясной надеждой на то, что каша все-таки не окончательно отравлена, т. е. мало-мальски съедобна. И уж тогда!..

Я был в третьей паре вместе с Рафгатом Абузаровым, моим школьным товарищем. Вскоре после ухода второй пары вернулась первая. В полумраке землянки, которая освещалась лучиной, я увидел, как один из этой пары, рядовой Юсупов с белой шишкой на конце буденовского шлема (это была каша), бросился на свое место на нарах, и его стало рвать. «Что, отравился?» — спросили все в один голос. «Нет, объелся». Ну, тогда все в порядке. Вскоре и мы ушли на пост. Прием и сдача поста: «Под той сосной ведро с кашей, а под той — бачок». Глуховато потрескивал остывавший на морозе котел. Весь час был посвящен пожиранию уже начинавшей замерзать каши. Она и вправду была горьковата. Обеспечив оборону кухни от нашествия других подразделений полка, наш взвод за ночь снабдил кашей весь караул, т. е. всю нашу роту, наполнены были все емкости: ржавые ведра и бачки, мешки и прочее. Никто не отравился, все наелись. Когда утром из штаба бригады прибыла комиссия, ей для проверки качества каши пришлось перочинным ножичком соскабливать запекшуюся пленочку с краев котлов. Оказалось, что прогоркло масло в брикетах пшенного концентрата.

С честью выполнив поставленную задачу, утром взвод отправился на занятия неподалеку от расположения роты. Мы

сидели вокруг костра и, сытые до отвала, с удовольствием созерцали, как наш взводный, лейтенант Карпов, уплетал разогретую на огне кашу, улыбаясь так широко, как позволяли ему плотно сомкнутые губы, запиравшие до отказа наполненный рот. Офицерский паек в запасных полках тоже был скудным, а Карпова мы, так сказать, любили. Он был фронтовиком, а фронтовики куда мягче относились к новобранцам, чем молодые лейтенанты, только-только окончившие военное училище.

Перед самым отправлением эшелона с нашей маршевой ротой нам удалось извлечь из подснежных тайников все емкости с кашей и запихнуть их под нижние вагонные нары, где зимой даже при самой жаркой топке чугунной «буржуйки» сохраняется иней.

Были и жестокие эпизоды. Похожие случались и у Астафьева. Однажды, тихим октябрьским днем, вместо тактических занятий, мы батальоном отправились за несколько километров к штабу бригады. По краям огромного оврага уже расположились другие части. Овраг скорее напоминал огромную чашу, один край которой был плоским и выливался в лес. На дне «чаши» была вырыта могила, возле которой под охраной стоял приговоренный к расстрелу за дезертирство. Один из множества офицеров с большим количеством шпал в петлицах (это были штабные) прочитал приговор, и отделение стрелков привело его в исполнение. Направление огня было в открытую часть «чаши». Что я тогда думал, не помню. Ясно, что в показательном расстреле нам надлежало увидеть иллюстрацию к заключительным словам военной присяги, которую мы к тому времени уже приняли: «И если я по злому умыслу нарушу эту мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».

В другой раз рядовому нашей роты Фомину приказали (в одиночку!) конвоировать несколько километров по лесной дороге арестанта с гауптвахты в военный трибунал. Арестант сбежал. Фомин застрелился.

Но самым запомнившимся событием стало чтение приказа № 00227: «Ни шагу назад». Это случилось в самом конце августа 1942 г., когда мы находились еще в карантине. При первых словах: «Наши войска без сопротивления оставили города Ростов и Новочеркасск» я почувствовал, как на моей остриженной под нуль голове стали подниматься волосы. Все что угодно, но, даже зная про наше катастрофическое отступление к Волге и на Кавказ, сопровождавшееся победной музыкой из радиорепродукторов, представить себе, что наши войска что-то «оставляют без

сопротивления», для меня было невозможно.

А однажды, еще до наступления холодов, в октябре был дорогой мне случай. Меня вызвали на КПП полка, и там я увидел… бабушку, мать моего отца. Проходя мимо расположения полка, ни один из поездов Казань — Йошкар-Ола не останавливался. Разве что замедлял ход. Бабушка в свои шестьдесят шесть спрыгнула на ходу с платформы товарняка. Мы виделись полчаса. Известно, что маленькие дети вспоминают взрослых по тем подаркам, которые они от тех получили. Оказалось, что у меня, отнюдь не «маленького», случилось так же. Бабушка привезла кастрюльку винегрета, десяток котлет, буханку хлеба и полстакана топленого масла. При тех скудных пайках по карточкам в военное время это была невообразимая роскошь. Тем более, что продукты отрывались у находившейся в эвакуации семьи с двумя маленькими детьми.

Мы с Рафгатом буквально сожрали все это за один присест. Рафгат был золотым парнем. Еще в Москве, когда мы учились с ним в седьмом классе, он, не говоря, что догадывается о причине нашего бедственного положения, принес мне несколько билетов на елку. У его родителей была какая-то возможность доставать их. Потом в полку он личным примером научил меня многим приемам выживания.

Повторю еще раз: главное — все время хотелось есть. Диапазон средств для добывания еды зависел от ловкости и изобретательности алчущего. Бывало, бегали ночью даже на свинарник за картофельной шелухой. Отмывали ее и жарили, прилепив к топившейся «буржуйке». А бывало, часовой у пищеблока, если ему посчастливилось стоять во время разгрузки хлеба, привезенного из пекарни, ухитрялся примкнутым штыком винтовки тайком подцепить одну-две буханки и, отбросив их подальше, замаскировать чем и как придется. Добыча при смене делилась на троих: разводящему, новому часовому и себе.

После свидания с бабушкой меня вызвал командир роты лейтенант Шулепов и спросил не привезла ли мне бабушка табаку (в тыловых частях курева в продовольственной норме не было). Ей это и в голову не могло прийти, я не курил. Командир роты удивился. Как выяснилось, все, кто курил и кому привозили из дому табак, щедро делились им с теми, от кого зависели. Была в роте некоторая группа ребят, которых хорошо снабжали едой их родные из деревень. Делились они только между собой, угощали начальство. Тягот недоедания они не знали и физическую нагрузку переносили легче, чем мы, были, что называется, «в теле». Именно им присвоили сержантские звания и при отправке маршевой роты на фронт оставили в полку для обучения

следующего пополнения.

А кто был мой отец, я знал. Знал, что он ни в чем не виновен, что он был честнейшим и самоотверженным тружеником, строителем дорог, что арест мамы — чудовищное государственное преступление. Всю процедуру ареста отца, когда мне не было еще тринадцати, а через семь месяцев, когда мне шел уже четырнадцатый, и арест мамы, я помню до мельчайших подробностей.

В то лето мы снимали комнату и террасу в Жаворонках по Белорусской дороге. 10 июля 1937 г. я ждал приезда родителей из города. Они всегда задерживались против обещанного времени. Нетерпеливое ожидание для меня было мукой, а их приезд (наконец-то!) — счастьем. Часов около пяти вечера с террасы я увидел, как через калитку торопливо входила мама в сопровождении незнакомца. На ней не было лица. Почувствовав что-то страшное, недоброе, я прирос к ступенькам. Не успела она дойти до террасы, как с другой стороны участка показалась «эмка». Из нее вышли двое в голубых фуражках и отец. Я видел, как он старался держаться, но поразившая меня его потерянность выдавала катастрофу. Он был всегда такой уверенный, сознававший значимость своего дела… Обыск в комнате, забирают две отцовские папки со строительными документами. Соседи по даче невольно видят происходящее через открытое окно. На лицах и страх, и любопытство, и попытки спрятать и то, и другое. Собирается смена белья и какие-то немудрящие принадлежности. «Юрочка, принеси из кухни мыло». Я иду на кухню. Возле умывальника, который дребезжит при каждом прикосновении рук к стержню, открывающему отверстие для воды, лежит обмылок. Я забираю его, и хозяйка дачи, не понимавшая еще, что происходит, по одному этому обмылку поняла все сразу. В ужасе застыла. Через полчаса она уверяла нас и себя, что произошло недоразумение, и «завтра он вернется». Так тогда думали и говорили все: происходившее воспринималось как невероятное. Отец надел самый старый поношенный плащ. Поцеловался с мамой, потом со мной. Я заплакал. «Ну что ты, не надо». Его повели к машине. Я запомнил его спину и по бокам — двоих в голубых фуражках. Отцу шел тридцать восьмой год. Его увели навсегда.

Еще днем мама ждала отца на московской квартире, чтобы вместе уехать на дачу. Дождалась…. ах дождалась! Отца арестовали на работе. Привезли домой. Обыск. Опечатали две комнаты. Едут на дачу, но не вместе. В машине всем места не хватает. Мама, как под конвоем, с надзирающим провожатым едет

электричкой. Остальное описано выше. Через много лет мама рассказывала, что она обронила по дороге, как неприятен ей ее спутник. На что тот ответил: «Чего не могу сказать о своей спутнице». Какова галантность! И тоже через много лет, вспоминая прощание с отцом она сказала мне: «Его губы были деревянными». Ей ли было не помнить, какими они всегда были нежными.

Жизнь рухнула, нищета. Поиски, где отец. С трудом доставшийся слабый заработок на разрисовке воротничков и жабо пастой из «фунтиков». Никаких сведений об отце вплоть до посмертной реабилитации в пятидесятых годах.

Около шести утра 6 февраля 1938 г. (отца почти за два месяца до этого успели расстрелять, и выяснилось это только через полвека) в квартиру вошли двое в штатском: мужчина и женщина. С ними дворник. Собирайтесь. Накануне вечером мама выстирала свой лифчик. Он был еще сырой. Позвонили бабушке, согласны ли взять внука. Да, согласны. Прощались молча, глаза в глаза. Сначала отвезли меня с моими пожитками, школьными книжками и тетрадками, потом вернулись за мамой, и как ее увозили, я не видел.

В самом конце прошлого века, получив доступ к «делам» родителей, я узнал, что в числе большой группы инженеров-дорожников отца обвиняли в «принадлежности к троцкистской организации, созданной в Цудортрансе Серебряковым». Л. П. Серебряков был начальником Цудортранса при СНК СССР, и в январе его расстреляли по делу т. н. «параллельного троцкистского центра». На февральско-мартовском 1937 г. пленуме ЦК ВКПБ Молотов натравил НКВД на дорожников, которые были под началом Серебрякова.

Обвинить их в троцкизме было бредом. В большинстве своем беспартийные люди, они знали только одно: выполнить план строительства. Никакой политической деятельностью они не занимались. В «деле» Серебрякова ни один из них не упоминается, а сам Л. П. Серебряков был впоследствии реабилитирован.

В приговоре отцу значится: «Виновным себя не признает». А в другом месте — «Справка на арест»:

Такой-то осужден по первой категории. Во всех преступлениях сознался (подлейшее вранье!). Подлежит аресту жена. (для того и наврали, чтобы вернее засадить женщину). Резолюция по диагонали: «Арестовать». Подпись — Фриновский.

Мама виновата только в том, что она — жена! Раз жена, значит «заведомо знала о преступлениях мужа». Поэтому —

«подлежит». А преступлений не было! Следователем у мамы был А. Шкурин. «Почему не сообщили о преступной деятельности мужа?» — «Ничего не было, не о чем и сообщать». 22 февраля «Особое совещание», 8 лет. «Единственное, что я могу для Вас сделать — не задерживать в Бутырках». Через несколько дней — этап в Потьму. Шкурин потом вел дела мужа и дочери М. Цветаевой.

Уже совсем в преклонном возрасте мама однажды сказала мне: «Больше всех страдал ты». Меня как жаром (а может быть, холодом) обдало. Я никогда не жаловался ей на свалившиеся на меня тяготы, связанные с положением сына «врага народа». Наоборот, когда мы уже встретились, я старался скрасить ей жизнь своими заботами. А она, перенеся и пережив столько, до глубокой старости думала обо мне так же как в то раннее февральское утро, отправляясь в тюрьму, разлучаясь с сыном, оставляя его на грозную неизвестность. Сейчас мне на сорок два года больше, чем было моему отцу, когда он погиб. Уже десять лет, как нет мамы. Для меня они — мои дорогие и любимые страдальцы. И всегда такими были.

И вот еще одно размышление мамы: «Не знаешь, что хуже. Янковских (были у нас такие близкие знакомые) не тронули, а Максим убит на фронте». Максим — это их сын, мой ровесник. И это сказала она, самозабвенно любившая отца, и я видел их изумительные отношения, и иной раз поддавался детской ревности. У меня нет сил комментировать это.

Катастрофа репрессий придавила всю страну, но большинство людей, и я в том числе, были вынуждены тешить себя мыслью и надеждой, добровольным заблуждением глупцов, что «Сталин не знает», во всем, дескать, виноват Ежов.

В школе я был отличником, однако, когда мои одноклассники вступали в комсомол, комсорг школы предупредил некоторых ребят, и меня в том числе, чтобы мы заявление о приеме в комсомол не подавали.

Ни по пути на фронт, ни на фронте, ни в госпитале моими родителями никто не интересовался. Не исчез еще все-таки подспудный здравый смысл; там, где можно было забыть или сделать вид, что забыли, обычные люди к тяготам службы, боя и постоянной заботе, как бы чего поесть, не добавляли бреда репрессивных подозрений. К тому же детей «врагов народа» несколько «оттеснили» от роли главной опасности для государства, и им на смену пришел вопрос в анкете: «Находились ли вы или ваши ближайшие родственники в плену, в окружении, или на оккупированной территории».

После первого ранения в начале февраля 1943 г. я долго лежал в госпиталях. Из госпиталя в Земетчино, где заканчивалось мое лечение, я выписался 18 августа 1943 г., т. е. через восемь дней после того, как мне исполнилось 19 лет. 19-го я прибыл в 23-й батальон выздоравливающих, который располагался на ст. Леонидовка, рядом с Селиксой под Пензой. В нем я пробыл около недели. Выздоравливали мы там, таская бревна, правда, не очень толстые и не далее, чем на полкилометра. Восьмиметровое — ввосьмером, два до обеда и одно — после. А на обед, я помню, можно было получить изрядное количество щей из крапивы с большими сгустками американского яичного порошка. (Именно к тем временам относится анекдот: продавщица кричит кассирше: «Катя, перебей лейтенанту яйца на порошок!»)

Из батальона выздоравливающих через неделю или чуть больше в составе команды я отправился, как говорилось выше, в Моршанское стрелково-минометное училище. Все мои анкетные данные остались в запасном полку и валялись в каком-нибудь ящике, никому не интересные. Да и стоит ли без острой надобности присматриваться к социальному положению какого-то нижнего чина, тем более, если он уже обстрелянный фронтовик.

Мандатная комиссия о родителях меня не спросила, а сам я, наученный военкоматом и политруком Ткачуком, не проявил инициативы и не стремился поднимать этот вопрос.

Полмесяца в карантине на опушке леса возле деревни Елизавето-Михайловка, что в двенадцати километрах от Моршанска, тоже прошли в трудах: мы заготавливали дрова для училища. Жили в шалашах из метровых поленьев, вывезенных по зыбучим пескам из глубины леса нами же, впряженными в телеги. Спали на подстилке из сена, а ночи были холодные. Прижимались друг к другу. Это позволяло одну шинель стелить поверх сена, а другой накрываться. Через много лет, когда мы повстречались с бывшим курсантом училища Мирясовым, первым его восклицанием было: «Ты помнишь, мы же с тобой и в шалаше, и на верхних нарах в казарме училища спали рядом!»

Вспоминаю, как один рядовой из другой роты карантина спер в деревне курицу. Его отчитывал перед строем начальник политотдела училища подполковник Левин, рыжий в таких же рыжих летных унтах на раненых ногах. В конце воспитательной речи он сказал: «А кто хочет нажраться на год вперед, тот дурак».

Я был примерным курсантом, учился хорошо, даже, пожалуй, очень хорошо, и окончил училище по первому разряду[27] За несколько дней до присвоения звания «младший лейтенант» меня подозвал к себе заместитель командира батальона по

политической части старший лейтенант Журавлев: «Курсант Сагалович, Вы едете на фронт, Вы знаете, какие потери несет на фронте наша партия. Вам следует вступить в кандидаты партии».

Машинально я что-то ответил, но в душе оторопел. Во-первых, в семье не культивировалась партийность, отец был беспартийным инженером, я никогда не видел себя партийцем. Хотя очень многие, никогда не собиравшиеся в партию, преодолевали это препятствие, особенно во время войны, и становились совсем неплохими ее членами.[28] Во-вторых, и это самое главное, непреодолимым порогом было мое социальное положение. Не рассказать на мандатной комиссии училища об аресте родителей (о них вообще не спросили), тем более что выходка Ткачука преподала мне навсегда запомнившийся урок, — это одно. Но то, что сокрытие этого факта привело к приглашению в ВКП(б), и то, что я стою перед перспективой куда более серьезного шага, т. е. уже во время приема в партию продолжать скрывать, что я сын «врага народа», представилось мне катастрофой. Несмотря на то, что я оказался перед немедленными и совершенно неведомыми изменениями в моей судьбе (рассказать правду — это в данном случае — почти убить себя), я с трудом решился и, опасаясь, что замполит Журавлев вот-вот уйдет, через небольшой промежуток времени, попросив разрешения обратиться, сказал ему, что вступление в партию мне закрыто по такой-то причине.

Изменившись в лице, побледнев и сжав кулаки, он сказал резко: «Молчи». На фронт я уехал кандидатом в члены партии.

Раздумывать над поведением ст. лейтенанта Журавлева я могу только наедине с самим собой. В 1946 году в Тамбове я встретил уже капитана Журавлева. Он ничего не спросил у меня и ничего не напомнил. Сдержанно улыбнулся и бережно положил ладонь на мои ордена. Читатель, который упрекнет меня в том, что поддавшись Журавлеву, я не был до конца честен, будет прав, но сначала пусть примерит тот случай и сопутствующие ему обстоятельства к себе.

На фронте, в действующей армии кандидатский стаж был сокращен до трех месяцев. В разведвзвод ко мне часто захаживал парторг полка майор Субботин, и настал момент, когда он предложил мне, кандидату партии, написать заявление о вступлении в члены партии. Предложение не было настойчивым, и потому уклонение от него не было трудным, не выглядело уловкой и умышленным затягиванием дела. Я уклонялся. В противном случае я должен был пойти одним из двух путей.

Первый — это при приеме, а скорей всего, еще до него, рассказать всю правду об аресте родителей. Но тогда стало бы

известно, что я скрыл эту правду при вступлении в кандидаты. Субъективно я был чист. Я все рассказал замполиту Журавлеву. А объективно? Не мог же я, в самом деле, оправдываться тем, что, дескать, замполит, услышав мой рассказ, приказал мне молчать. Это было бы полнейшей нелепостью, прежде всего потому, что назвать фамилию Журавлева означало предать его. Да и кто бы мне поверил. Пуще всего меня угнетало, как я вдруг предстану перед моими товарищами. Как я буду смотреть им в глаза. «Ах, вот кто ты такой!» Да и, вообще, все это означало (см. выше) — убить себя. Но зачем же это делать, когда нежелательное событие может произойти в любой момент без моего участия и против моей воли.

Второй — продолжать скрывать правду и при приеме в члены партии. Обе возможности, да еще в боях, были абсолютно неприемлемы. Разумеется, бои не только подавляли эти мысли, но будто удаляли их из сознания. Если бы не тяготы войны и постоянное присутствие смерти (до которой «четыре шага»), размышления на эти темы в иные времена могли свести с ума. Почему же не свели? Ну ясно, конечно, что подсознание включало защитный механизм и автоматически уводило семейный сюжет со сцены за кулисы. Кроме того… Однажды, уже в конце семидесятых годов, в беседе с одним замечательным врачом, академиком Академии наук России, который во время войны был командиром медсанбата, мы затронули явление невроза. На мой вопрос, почему во время войны о неврозах не было даже слышно, он ответил: «Обществу было не до людей, а людям — не до себя».

Но так или иначе, а война кончилась. Вскоре после расформирования дивизии уже новые политработники снова обратили внимание на мой затянувшийся кандидатский стаж.

В конце концов я собрался с духом и пришел к секретарю партийной комиссии дивизии подполковнику Семагину. Так, мол, и так.

Он долго расспрашивал меня о моей семье, интересовался только фактами, и не спрашивал о моих отношениях к ним. С течением беседы его вопросы становились все более обстоятельными. Иногда я переставал улавливать логику в их последовательности. От этого я стал теряться и почувствовал, что надвигается какая-то неясная угроза. После долгой паузы я услышал: «Да-а, крутой старик». И это о Сталине, и это задолго до его смерти, и это, когда даже думать о нем хотя бы с малейшим оттенком сомнения в его непогрешимости было преступлением, вероотступничеством! А уж если подумал, то — немедленно и добровольно на эшафот. Я ожидал всего, но только не такой реакции. От неожиданности сказанных слов и от испуга я втянул

голову в плечи. Но одновременно по всему моему существу разлилось тепло необычайной благодарности к подполковнику.

Во-первых, его слова косвенно означали уверенность в невиновности жертв террора вообще, и моих родителей, в частности.

Во-вторых — неприятие бесчеловечных методов неограниченной репрессивной власти.

В-третьих, открыв передо мной свое, мягко говоря, отнюдь не традиционное отношение к Сталину, он показал, что доверяет мне.

Наконец, в-четвертых, он понимал, что дело отнюдь не в «ежовщине», и точно указал источник террора.

— Ну, и что теперь со мной сделают? — спросил я.

— Да я все думаю, какое бы тебе придумать взыскание полегче. Сам понимаешь, без взыскания обойтись нельзя.

Мне объявили выговор. Вопреки моим опасениям, большинство моих товарищей, хотя и не все, отнеслись ко мне с пониманием и, я бы сказал, с сочувствием. А встретивший меня на следующий день начальник политотдела дивизии, полковник Якушев сказал: «У нас к тебе претензий нет. Большего, чем ты рассказал, быть не могло. За чужой спиной ты не прятался, а в партию вступал — так ведь не в наркомы шел, а на фронт ехал».

Стоит ли распространяться, какая тяжесть свалилась с моей души. Вскоре меня приняли в члены партии, а в 1956 году после реабилитации родителей заменили все партийные документы, дабы изъять из них упоминание об обоих арестах.

Разные люди по-разному и отнесутся к изложенным здесь фактам и моим поступкам, связанным с вступлением в партию. Одни посочувствуют, другие назовут старым рефлектирующим дураком, которому по прошествии почти шестидесяти лет давно пора все забыть. Найдутся и такие, что и сейчас нипочем не простят так называемой неискренности перед большевистской партией. Это последователи Ткачука. От своих претензий они не откажутся. А не исключено, что кое-кто из ригористов поставит мне в неискупимую вину само членство в партии, чем бы оно ни сопровождалось.

Однако совсем не для того я исповедовался, чтобы снискать сочувствие или защищаться от критиков. И дело совсем не во мне. Неужели на восьмидесятом году жизни мне пристало жаловаться на судьбу. Таких, как я, были миллионы. Среди них я один из счастливейших. В античеловеческой системе сталинизма я — самая крохотная жертва. Да что я!? Недавно генерал Калашников рассказал, как он, уже увенчанный славой

изобретателя знаменитого автомата, уже лауреат Сталинской премии, боялся, как бы «органы» не узнали, что он, выдвинутый кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, скрывает свою принадлежность к крестьянам, подвергшимся раскулачиванию. Фантастический политический режим!

Я не только не отказываюсь от глубочайшей благодарности к тем, кто поддержал меня участием и советом, а то и защитил в те годы, или просто хорошо ко мне относился, но память о них я сохраню до конца своих дней. С партией я расстался в первый день путча в августе 1991 г., хотя многие мои сослуживцы сделали это значительно раньше. А я, дурак, все еще на что-то надеялся.

Однако не потому ко мне не может быть претензий, что я не прятался за чужой спиной и не шел, упаси боже, в наркомы. А потому, что в первую очередь они должны быть предъявлены источнику всей подлости.

Мама учила меня, что в жизни нет ничего такого, ради чего стоило бы кривить душой. Конечно, в абсолютизации этого принципа есть порядочная доля максимализма. Ведь и Ленин писал, что есть «компромиссы и компромиссы». Кривить душой учил нас всею своей деятельностью, всем своим тридцатилетним правлением наш великий вождь. Преуспел.

Если многие, в том числе и я, поначалу прятали свое смятение и страх от происходившего за спасительной формулой «Сталин не знает» и придумали термин «ежовщина», то мама с самого начала знала, что Сталин не только все знает, но является главнейшим организатором и вдохновителем преступлений 30 — 50-х годов.

Вот некоторые стихотворения, которые она сочинила в лагере, т. е. Там и Тогда. Не написала, а именно сочинила, так как они хранились в ее памяти и были записаны мною, т. е. перенесены на бумагу под ее диктовку только в 1959 г., через тринадцать лет после освобождения и через четыре года после ее реабилитации, Я опубликовал их уже после смерти мамы в сборнике «Как рассказать о злодействе над женами?..»

В начале 1942 г. по лагерю разнесся слух, что если «жены покаются», то их освободят.

Не знаю, в чем моя вина,
Но я раскаяния полна!
Хоть у меня и нету «дела»,
Но я просить бы вас хотела

Смягчить карающий закон;
Не знаю, впрочем, есть ли он.
Не знаю, впрочем, ничего:
Что, почему и отчего?
Что это, буря или шквал,
Землетрясенье иль обвал,
Или свирепый ураган,
Или разбойничий наган,
Сразивший мирных на пути?
Как объяснение найти,
И как понять на миг хотя б
Злодейства мрачного масштаб!?
Иль это Гитлер, строя козни,
Легко посеял семя розни
Путем несложных провокаций;
И в мир больных галлюцинаций
Повергнут сбитый с панталыку
Наш обезумевший владыка?
Объятый страхом жалкий трус,
Вступил он с клеветой в союз
И, не смиряя ужас низкий,
В НКВД шлет тайно списки;
И над страной туман кровавый
Навеял дикою расправой,
Сгубившей лучших миллионы!
Иль сам из пятой ты колонны,
Наш вождь, учитель и отец,
Замаскированный подлец,
Кремлевский жулик, псевдогений,
Как составлял ты план сражений,
С бухты-барахты, для почину,
Чтоб сдать фашистам Украину,
И не принять в соображенье
К Москве их жадное стремленье!?
Не знаю, впрочем, ничего:
Что, почему и отчего?
Не знаю, в чем моя вина,
Но я раскаяния полна.

* * * * *

Нет, не страна и не народ
Безвинных в цепи заковали;
И гнев не против них растет

В сердцах, исполненных печали.

И не народ, и не страна
В припадке злобного проклятья
Сгубили тех, чьи имена
Твердят их сыновья и братья,
С врагом сражаясь за отчизну!
То черный ворон правит тризну…

Черный ворон, злобой черной
Ты преследуешь меня;
Всюду облик твой позорный
Здесь средь ночи и средь дня.

Вся охваченная дрожью,
Узнаю я из газет,
Как опутываешь ложью
Ты людей уж столько лет.

Председатель Совнаркома,
Всех зажал ты в свой кулак;
Ты — страны своей саркома,
Ты — в ее желудке рак!

А вот окончание большого стихотворения «Жены»:

С женщин снимается специзоляция,
Гибок ГУЛАГ, несложна операция.
Едет начальство для новой заботы —
Белых рабынь разослать на работы.
Снова сбирайте узлы и подушки,
Вновь до отказа набиты теплушки,
Затарахтели с решеткой вагоны,
Дальше, на Север отправлены жены.

Обыски, вышки, поверка, собаки,
На Воркуте, ББК и в Талаге
Мерзкою пастью зловонной клоаки
Нас поглотил «исправительный лагерь»,
Перемешав с человеческой гнилью,
Сделав постыдное нашею былью,
Сделавши домом нам логово смрадное,
Высосал жизнь, как чудовище жадное.

Неисчислимы пути и дороги,
Что по двенадцать часов под конвоем
Вдоль исходили опухшие ноги
В ветер и в ливень, морозом и зноем.

На шпалорезке, на выкатке бревен,
На распиловке, в столярке, в сапожной,
Долгие годы с мужчинами вровень,
Труд непосильный, подчас — невозможный.

В сердце иссякли источники слез,
Мысль застыла от мертвенной хватки,
Смотрят начальником туберкулез,
Астма, пеллагра и опухоль матки.

Гибель — владычица, жизнь — пустяк,
Даже в аду не придумали черти
То, что придумал искусный ГУЛАГ
На беспощадном конвейере смерти.

Нет, не ГУЛАГ! Тот, чье имя позорное
Превосхваляют со строчек газеты;
Тот лишь, чье сердце, змеиное, черное
Прячут под френчем немые портреты.

Это твоими лихими наветами
Были они пред страной оклеветаны.
Лживо обрушив на мужа вину,
Страшною мукой казнил ты жену.

Слышал ты детские крики и плач?
Видел ли ты, озверелый палач,
Как приходили безвинную мать
В позднюю ночь у ребенка отнять!?

Веером машет дитя проституции,
Нос прикрывая изъеденный гноем;
Так вот, кокетничая конституцией,
Ты занялся неприкрытым разбоем.

Время пройдет, эту ложь бутафории
Шквалом снесет: беспощадна история,
И вдохновитель безумного фарса
Будет известен до самого Марса.

Кончится путь, умощенный страданием,
Сдвинутся с шумом могильные плиты,
И пред Особым — другим — Совещанием
Встанем мы, правдой и светом залитые.

Теперь я могу снова обратиться к вопросу о сокрытии правды. Было два сокрытия. Первое — это мое, обрисованное выше. А второе — не мое, чудовищное!

«У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 гг., когда наша армия отступала. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь… Но русский народ не пошел на это… Спасибо ему, русскому народу, за это доверие».

Отметив демагогически-лицемерную форму этой тирады, произнесенной Сталиным в честь командующих войсками Красной армии 24 мая 1945 г., А. М. Некрич в книге «22 июня 1941 г.» (М: «Наука», 1965) затем так комментирует ее: «…в это время, когда в Кремле по предложению Сталина пили за здоровье русского народа, по его же приказу лучших сынов этого народа, телами своими затормозивших сокрушительный бег фашистской военной машины в 1941–1942 гг., десятками и сотнями тысяч гнали в сталинские лагеря».

Я считаю этот комментарий абсолютно верным, но совершенно не достаточным.

Представьте себе, вот вождь признает ошибки правительства, и мы, не зная, в чем именно они состоят, восхищаемся его честностью и откровенностью. И мы благодарны ему за то, что он делится с нами своим сожалением по поводу ошибок.

Но проходят годы, вождь умирает, и мы узнаем, что именно по вине вождя таким катастрофическим было начало войны, и мы видим, что он об этом знал, но нам не говорил, и мы видим, что наше восхищение вождем, его, так сказать, честностью и откровенностью, было самообманом. И мы видим, что в торжественные минуты победного ликования он продолжал сознательно нас обманывать!

Ошибки были, видите ли, «у нашего правительства…» Генералиссимус спрятался за правительство! Растворил, так сказать, себя в правительстве. Да могло ли правительство пикнуть, когда, держа наготове дубину госбезопасности, он матерной руганью отвергал все донесения разведки, в которых точно указывался день начала войны? За обтекаемым словцом «ошибки» он прежде всего прячет, а попросту скрывает свой преступный просчет, основанный на фанаберии, самомнении и

сознании собственной непогрешимости. Эта «ошибка» вождя обошлась народу пятью миллионами военнопленных, главным образом, русских, украинцев, белорусов, татар и многих других национальностей, которых он фактически собственными руками отдал врагу, а затем объявил их изменниками родины! Эта «ошибка» обошлась стране потерей почти половины территории ее европейской части и неисчислимыми страданиями ее людей. И эту «ошибку», т. е., повторю, преступный просчет в определении сроков начала войны, он продолжал скрывать всю свою оставшуюся жизнь. Какое кокетливое покаяние! Струсил сказать истинную правду. Такой образ действий — это не просто «присущая ему демагогически-лицемерная форма». Это называется «вертелся, как уж на сковородке». От великого до смешного один шаг. Не осмелился он на том приеме в Кремле признаться в конкретном чудовищном просчете! Какое удобное слово «ошибка».

Подумать только! Скрыл, что ему была известна точная дата начала войны, и выдал это за «ошибку правительства»! Не рискнул ослабить правдой свое величие победителя. Величия, которое добыл ему народ, отдав всего себя ради Победы. Так и ушел в могилу, не признавшись в своей личной вине перед народом.

И до сих пор находятся психоаналитики поведения вождя, которые чуть ли не вместе с ним испытывают страдания-метания, как бы подальше оттянуть начало войны. Хотел, что ли, как лучше!? Тут и Черномырдин не поможет выйти из положения. И тезис о благих намерениях, которыми выстланы… и т. д., в данном случае — беспомощное щебетание.

Поразительно, до чего смело и выразительно звучали слова: «…были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 гг., когда наша армия отступала». Быть может, и сам изумлялся своей откровенности, сообщая то, что и без него было известно каждому младенцу. Не было известно только, что отчаянное положение — это прямое следствие преступной политики вождя. Осмелился благодарить народ, перед которым обязан был извиняться и кланяться, кланяться и извиняться. Отправил в топку миллионы людей и благодарил их за то, что безропотно давали себя посадить на лопату, которая бросает их в огонь. Неизвестно еще, принял бы народ эту благодарность, узнав чего она на самом деле стоит!

На 19-м съезде ВКП(б), на котором она стала КПСС, Маленков заявил, что перед войной была уничтожена «пятая колонна». Не будь это сделано, с началом войны мы оказались бы в положении обстреливаемых с фронта и тыла. К «пятой колонне»

причислялись миллионы лучших. Отдававших все свои силы развитию промышленности, сельского хозяйства, образования, науки и культуры страны. Они построили страну и были уничтожены ее «хозяином».

Механизм элементарно прост. Произвольный арест по признакам высокого интеллекта, способностей, культурного превосходства, обыкновенной зависти, злобы, по доносу, неугодности «самому». Но всегда заведомо невиновных. Вымышленные, ложные обвинения.

Многочасовые допросы и избиения. Выбитые «признательные» показания, оговоры и пр., и пр. Затем длиннющие, аккуратно сброшюрованные списки, в которых только порядковые номера, фамилии, имена и отчества жертв без каких бы «то ни было комментариев, кто такой и что собой представляет. Скреплены подписью какой-нибудь сволочи вроде Курского, Гендина, Агранова, Литвина, Бельского, Цессарского, Шапиро. Нижайшая просьба Ежова к «т. Сталину» на согласие по «I-й категории», т. е. согласие на расстрел. Чего проще, всегда пожалуйста! Процедура завершается серией подписей за расстрел: Сталин, Молотов, Жданов, Ворошилов, Каганович и др. Через день или два — расстрел ни в чем не повинной жертвы. В течение полутора лет — ежедневные часовые беседы «хозяина» с Ежовым, которого в конце концов самого и прикончили. Лично Сталин подписал более 41 тысячи расстрелов, Молотов — более 43 тысяч. В одном и том же списке с моим отцом[29] есть фамилия Левашовой Софьи Анатольевны,[30] сотрудницы технической библиотеки. Она ложно обвинялась в «активном участии в террористической организации». И отец и она были расстреляны 9 декабря 1937 года. Отцу было 38 лет, а этой девочке — 19. Женщины составляют три процента всех расстрелянных по личному указанию Сталина.[31] Всего в тот день 7 декабря 1937 г. те же лица подписали 14 расстрельных списков общей сложностью на 2125 человек по разным территориям и ведомствам. И это двадцатая доля их личной расстрельной деятельности.

На 7 декабря 1937 г. пришлась наивысшая нагрузка по отправке на тот свет. У меня есть единственное предположение, почему так вышло: 12 декабря 1937 г. состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР по новой, «Сталинской конституции», и подписанты несли «стахановскую вахту».

Иногда можно услышать: «Мы об этом ничего не знали!» Вполне возможно. Но узнав, естественно бы попытаться узнать побольше… К сожалению, такое желание не всегда возникает даже и сейчас, когда открыт свободный доступ ко всем этим

спискам в Архиве Президента РФ…

Сто двадцать пять «пятых колонн», если бы они существовали, не смогли бы причинить такого зла и ущерба, который был нанесен стране и народу их «хозяином». По-видимому, именно в этом и состоит причина неуклонного роста с каждым годом «рейтинга» убийцы миллионов.

Всякое было во время войны, разные люди вели себя по-разному, а иногда и не лучшим образом, в делах и боях случались и изъяны, и прорехи, и катастрофические и едва заметные. Однако перевесил величайший нравственный подвиг людей всей страны, носившей в то время имя СССР. Так или иначе результатом этого нравственного подвига стала всеобщая Победа.

Но поведение вождя показало, что он нравственного подвига не совершил. На этом фоне весьма глубокомысленно и загадочно звучит фраза, произносимая некоторыми деятелями нашей культуры: «Сталин выиграл войну».

Сколько времени меня мучили угрызения совести за «сокрытие от партии» (только так это и могло звучать в те годы)… Но сокрытия чего же? Фактически, за сокрытие от партии, руководимой Сталиным, того факта, что именно он, ее вождь и глава Сталин, убил моего ни в чем не повинного отца и упрятал на 8 лет в лагерь мою мать только за то, что она была женой убитого! Неужели вместе с фактами моей биографии партии так уж необходимо было знать означенные выше факты из биографии своего вождя? Кому, кроме меня самого, мой, так называемый, «обман» принес вред? Тем не менее я перенес невероятные нравственные муки. Истязал себя, вспоминая, например, фразу Стивенсона: «В подтверждение своей лжи солгавший берет на себя тяжесть солгать еще двадцать раз». В то же время обман Гоняева повлек за собой смерть моего разведчика (и ведь не единственный раз он совершил такую подлость, и не один Прокофьев погиб по его злой воле), а обман Сталина повлек миллионы смертей. Но им обоим прямо как с гуся вода!

Теперь с этим моим душевным дискомфортом покончено навсегда.[32] На особенности психологии Сталина проливает свет такой давнишний факт. В один из дней перед 59-й годовщиной Победы по телевидению шел фильм «Сталинградская битва». Его так давно не показывали, что в памяти не осталось о нем и следа. Фильм был сделан еще при жизни Сталина. Вот на экране знаменитая переправа дивизии генерала Родимцева через Волгу, в городе ожесточенные бои. А вот в кремлевском кабинете Сталин и маршал Василевский. «Хозяин» объявляет, что он много думал,

и у него созрел план. Двумя широкими жестами он показывает на карте, разложенной на столе, то, что мы все знаем как план окружения сталинградской группировки немцев. Василевский восхищен. Гениально!

Известно, что Сталин просматривал все фильмы перед их выходом на экраны, и авторы фильмов с ужасом ждали своей участи. Просматривал и этот, и дал ему добро. Дал добро отъявленной лжи. Из мемуаров Жукова и Василевского мы знаем истину. Им обоим принадлежала идея «иного решения» сталинградской проблемы. Они, по словам Жукова, поделились ею друг с другом вполголоса поодаль от Сталина в его кабинете, и Жуков удивился остроте слуха Сталина, который встрепенулся и спросил: «А какое иное решение?» Даже через сутки после этого Сталин не сразу понял идею, которая изображалась на карте предварительного плана, представленного ему двумя полководцами. Василевский описывает это событие без подробностей, называя его обменом мнениями. Во всяком случае идея принадлежит не Сталину. Но он позволил кинематографистам приписать ее ему, а в кадрах фильма Жукова нет и в помине. Я расцениваю этот факт, как прямое присвоение Сталиным не принадлежащих ему заслуг. Плагиат! Кто в очередной раз захочет умилиться сталинской скромности, например, единственной паре стоптанных башмаков вождя, пусть вспомнит о его аппетитах в случаях куда более значимых ценностей.

Хорош моральный облика вождя! Впрочем, я могу и заблуждаться. Может быть, об эпизодах именно такого сорта Маяковский говорил:

> Сочтемся славою!
> Ведь мы свои же люди.
> Пускай нам общим памятником будет
> Построенный в боях социализм.

Но еще на одной «сталинской» теме, связанной с военной историей, стоит все же задержаться. Вероломное, внезапное нападение гитлеровской Германии… Для кого оно было внезапным? Только не для Сталина. Потом он мусолил фактор внезапности и как фактор, давший противнику преимущества в первый год войны, и как фактор временный, который окончательного исхода войны не определял. Преимущества противнику дал лично Сталин, прямо-таки преподнес «на блюдечке с голубой каемочкой».

Так он, этот фактор внезапности, подаривший преимущества противнику, и оставался неприкосновенным, как заплесневелый сухарь. В конце концов сухарь начал тормозить развитие военной науки. Только после смерти Сталина, ценой больших усилий маршал танковых войск Ротмистров преодолел эту рутину. Он показал, что внезапное нападение при наличии ядерного оружия как раз и определит поражение опоздавшей стороны[33]

Вернемся на секунду к теме «Как составлял ты план сражений?» в первом из приведенных в этой главе стихотворений. В течение 1935 — 36 гг. отец был главным инженером строительства автомагистрали Москва — Киев. После того как всех инженеров перестреляли, работы прекратились, и магистраль оказалась доведенной только до Калуги. Для широкой публики в районах, прилегавшим к магистрали, прекращение строительства объясняли тем, что инженеры-вредители-террористы строили магистраль якобы специально для того, чтобы помочь немецким танковым и механизированным колоннам пройти к Москве с юго-запада, откуда, как был уверен прозорливый вождь, будет наноситься главный удар.

Означенный вождь раскусил-таки вражеские замыслы, забыв, что никакое строительство без его ведома не могло не только начаться, но о нем нельзя было и заикнуться.

Не подозревал вождь, какой рикошет приготовил себе! Дело в том, что одновременно строилась и магистраль Москва — Минск. Всех ее ведущих инженеров тоже перестреляли (в обоих случаях расстрельные списки подписывал лично товарищ Сталин), но строительство не прекратили, так как главного удара с запада не предвиделось. Однако главный удар летом 41-го наносился именно с запада, и немецкие танки прикатили в пригороды столицы по ласково называемой «минке». Следуя простой логике, продолжение темы закрытия-незакрытия строительства неизбежно приводит к выводу, что отнюдь не напрасно, да и просто с умыслом, продолжалось строительство «минки». Действительно, так и только так рассуждали бы следователи из НКВД, буде им пришлось по отшлифованной методе фабриковать дело против вождя: «О пособничестве врагу, выразившемся в преднамеренном строительстве магистрали Москва — Минск с целью обеспечить максимальные возможности продвижения механизированных колонн противника к Москве».

Ну а гудериановские танки осенью 41-го оказались в Юхнове, Калуге и Малоярославце без всякой автомагистрали.

Расстреливай — не расстреливай, прекращай — не прекращай строительство автомагистралей, но раз преступным образом проворонил начало войны, так и «неча на зеркало

пенять, коли рожа крива».

Каковы амбиции у автора записок! Неважно по какому поводу, но он осмелился противопоставлять себя и Сталина! Рассуждает, видите ли, кто из них, как, когда и что скрыл. Да и в самом деле, перефразируя строчку «видно захотел сапог стать умнее, чем сапожник», которая, принадлежит Гейне в «Телеологии», можно, используя сталинскую лексику, сказать: «Видно винтик захотел стать умнее, чем отвертка». А можно и иначе: «Ведь он червяк в сравненье с ним, в сравненье с ним, лицом таким…» Или: «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». Я, разумеется, заменил «я» на «он». Этот болван у Беранже с подобострастием называл себя червяком перед вельможей, который топчет его достоинство. Но сам себя я ни червяком, ни винтиком перед Сталиным называть не намерен. Зато червяком и винтиком меня назовет любой возмущенный сталинист. Сталинист — это либо из обласканных прежней жизнью, либо из тех, кому в свое время внушили, что Сталин денно и нощно заботился об их благополучии и уничтожил всех, кто на это благополучие якобы покушался. Им невдомек, что Сталин заботился прежде всего о том, чтобы жить в веках. Их не заботит, что Сталин был первопричиной уничтожения миллионов их безвинных соотечественников. Собственное положение и благополучие им ближе миллионов чужих смертей. Ради своих интересов они готовы до сих пор славить своего кумира. При этом идут даже на то, что готовы снова обвинить миллионы невиновных. На этот фундамент и опирался Сталин. Во всех случаях сталинист — это мизантроп.

Я отрицаю какое бы то ни было гипнотическое действие личности Сталина. Я не признаю взвешивания этой личности на аптечных весах. Вот это, дескать, было плохо, зато это вот было хорошо. Когда хорошего много, а плохого и не заметно, тогда весы не нужны. Убийство миллионов ничем «хорошим» не перевесить, а уж аптечные весы сами собой согнутся и мгновенно завяжутся в узел. Здесь нужны весы для многотоннажных кораблей. Если вес обычного корабля — это его водоизмещение, то вес корабля-душегуба — его кровонасыщение.

Закрыв глаза, я вижу, как Сталин ставит подпись за расстрел, даже не поинтересовавшись, в чем обвиняется человек, мой отец, который, будучи в 1933-34 гг. главным инженером Мособлдорстроя, выстилал асфальтом дороги для сталинского «Паккарда»! Привычным «За» и росписью «ИСт» утверждается расстрел моего отца, который безусловно принадлежал к «миллионам лучших». В самом ли деле случались аварии

правительственных автомобилей при подъездах к дачам членов правительства по причине террористических намерений при проектировании дорог? Вопреки тому, что ничего подобного не случалось никогда, следователи НКВД обвиняли дорожников именно в этом, не приведя ни одного факта в подтверждение своей лживой версии. Чего стоит одна фраза из обвинения: «Подушкинское шоссе, зубаловская ветка, было спроектировано так, чтобы там возникали пробки, во время которых можно было бы совершать террористические акты». Весь последующий опыт опроверг кровожадную нелепицу этой фантазии сталинского палачества. Следуя ей, мы скажем, что «Москва спроектирована так, чтобы в ней возникали грандиозные пробки, во время которых можно было бы совершать…» Стоп, стоп! Осечка! Все террористические акты совершаются в Москве у подъездов домов и внутри них (а теперь в театре и в метро), да где угодно, но ни одного — в многочисленных и длительных пробках!

Да чего там! 7 декабря 1937 г. — подпись, а 9-го — так называемый суд, и за ним немедленно — расстрел. И то сказать, в тот день вождь подписал расстрел, как мы знаем, для 2125 человек. Утомился, сердечный. Разве мыслимо проверить столько народу! «Незаменимых людей нет и не бывало!» Всех в расход! Заменю!

Теперь там и сям, вроде бы и невзначай проскальзывает вроде бы и наивный вопрос: «Что же, по-вашему, Сталин не понимал, что уничтожение ценных специалистов и партийных кадров нанесет ущерб делу строительства социализма?» Вы раньше не задумывались над этим вопросом, он ставит Вас в тупик и естественным образом подталкивает, быть может к неуверенному, ответу: «Ну…. наверно понимал!» Отсюда инициатор разговора сразу с предвкушением близкой победы: «Значит, вина специалиста перевешивала его ценность как специалиста!» Вы насторожились, но еще не улавливая логику вопрошающего, неуверенно отвечаете: «Ну, наверно…» И все, Вас склонили к признанию обоснованности тех самых репрессий, которые давно и твердо признаны необоснованными. Вы и не заметили, как Вас обманули, подсунув мифическую «вину специалиста». Никакой вины и не было, ее выдумали в угоду Сталину, нацелившему органы безопасности к такому образу действий, т. е. к выдумыванию вины, которую ему же, к его же удовольствию преподносили, в подтверждение прозорливости вождя, в многотысячных списках. Были уверены, что вождь подпишет, не собираясь вдаваться в подробности, не спрашивая, что за специалист и какова его ценность, ибо сам на него указал.

Для чего нужен этот фокус? А вот для чего. Душа поклонника вождя тоскует по сталинским методам. Всем хорош, всех бы «демократов» сейчас к ногтю… но вот загвоздочка — кошмарные сталинские репрессии. Они тяготеют надо всем, от них никак нельзя отделаться. Вспомните: «…И над страной туман кровавый навеял дикою расправой». Невозможно даже дать повод, чтобы подумали, что ты готов простить. В тебе же сразу увидят того, кто ты есть на самом деле: сторонника репрессий. Этого пока никак не хочется. Что же делать? А вот что! Убрать репрессии, как препятствие, а для этого перестать называть их необоснованными! Значит надо обосновать! Этому и служит подготавливающий вопрос: «Неужели Сталин не понимал?» И неважно, что тем самым совершается новый акт безнравственности и, более того, подлости. Неважно, что миллионы безвинных снова обвиняются, лишь бы добиться своего. Но ведь и глупость неимоверная: ради своей ничтожной выгодишки (как еще можно сказать выразительно о малюсенькой гаденькой выгоде) поставить страну перед пропастью.

Но еще раз обвинить «лучших миллионы» им нужно не только для того, чтобы устранить фактор репрессий, так компрометирующих сталинизм и мешающих реабилитации Сталина, но и для того, чтобы опорочить тех, до которых нынешним, претендующим на звание лучших, и не дотянуться. Не опорочишь — себя не возвысишь.

Все начинается с этого вопроса: «Что же, по-вашему, Сталин не понимал?..» Будьте спокойны, все понимал, только плевать ему было на всю ценность кадров. Незаменимых нет и не бывало! Вспомните, пожалуйста, об этом сталинском тезисе, прежде чем задавать свой подленький вопросец или пытаться ответить на него.

Сообразим наконец откуда проистекают сожаления об истощении генофонда народа. А оттуда, что он и в самом деле истощен, и причина истощения состоит в огромной степени в этой пушечной фразе: «Незаменимых нет и не бывало».

Незаменимым был только один человек — сам Сталин. В самом деле, как только он умер — массовые репрессии прекратились! Для их продолжения персоны не нашлось, т. е. не нашлось кем заменить Сталина на поприще массовых убийств![34]

Сталину удалось внушить, вменить огромной массе советских людей себя, незаменимого, ради которого можно убить сколько угодно из них. «Сталину так верили!» А Вы лично знали его? И верили потому, что видели его распрекрасные человеческие качества? Нет! Вам эту веру вменили всей мощью пропагандистского аппарата.

Вот еще один довольно знакомый кульбит. В пику воспоминаниям о сталинских репрессиях, массовых расстрелах, списках, лагерях, пытках, и для того, чтобы ослабить ужас прошлого, произносят: «А сейчас?!» Этим пытаются защитить прошлое от якобы несправедливого осуждения. Лукавство! Расчет прост. Нынешние потери свежее, у кого поднимется рука хоть чем-то оправдывать их! Убивать недопустимо никогда. Убийства по тайному заказу, гибель из-за неуставных отношений в армии, бытовые убийства, грабежи и разбой… Список можно продолжить. Одна общая черта свойственна всем этим категориям смерти. Эта черта — безусловная уголовщина, как единственно возможная их квалификация. И так квалифицирует перечисленные деяния само государство. В противовес сегодняшним несчастиям, сталинские убийства были государственными, инициированными одним человеком в своих личных целях, выдаваемых за общенародные, втягивающих в орбиту круговой поруки миллионы граждан страны. При этом масштабы убийств несопоставимы! Снова вспомните: «…. И над страной туман кровавый навеял дикою расправой, сгубившей лучших миллионы.» Прятать сталинские преступления за хилую ширму современности — безнадежное дело.

А почему бы автору этих записок не повернуть дело в духе времени совсем по-другому и не надуться от тщеславия, как пузырь. Таким расстрелом надлежит гордиться! Расстрел по высочайшему повелению! Не знал я вплоть до 1989 г., что мой отец расстрелян. После реабилитации сообщалось, что умер. А что расстрелян по личному повелению вождя, не знал тем более. Знал бы, так разве молчал хотя бы перед тем же Ткачуком. Слюнтяй! Побежал, видите ли, жаловаться. По уху политруку — и все тут! Кто ты, Ткачук, про которого Сталин даже не слышал, и кто я, отцу которого смерть определил сам Сталин!? Для вступления же в партию вот именно такой расстрел отца — лучшая рекомендация. Быть сыном беспартийного инженера, одного из мизерной, привилегированной кучки, всего-то сорока одной тысячи с лишним (тьфу, какая мелочь!) расстрелянных по спискам, утвержденным самим вождем! Ведь сколько полегло в застенках, а августейшей подписи удостоилась такая горстка! По нынешним временам, это прямо-таки почти дарование дворянства! Не даром Борис Березовский похваляется своим родством со Сталиным. Выдал дочь за внука Светланы, и вот уже вместе с популярной радиоведущей иначе как «Иосиф Виссарионович» и не произносит.

Я помню, как с десяток лет тому назад один из моих собеседников упрекнул меня в том, что мое отношение к Сталину

находится в противоречии с тем, что мы на фронте кричали «За Сталина!» Я никогда такого не кричал, и вовсе не потому, что мое отношение к Сталину нельзя назвать пылким. Причина совсем в другом. Будучи вторым номером расчета станкового пулемета, в бою я, главным образом, следил за лентой с патронами, чтобы не было перекоса патрона в патроннике, и корректировал огонь, так как у первого номера такой возможности было маловато. В таких условиях орать «За Сталина!» было неуместно. Когда же я ходил за языком… Ну представьте себе идиота, который крадется в темноте, стараясь не издать ни звука, и вдруг перед броском орет: «За Сталина!». Это было бы так же нелепо и смешно, как сцена со Швейком, когда он, едучи в инвалидной коляске, орал: «На Белград!»

Сказать по правде, этого возгласа я на фронте не слышал. Он звучал в кино и помещался на броне танков. Я думаю, что если бы мне приказали: Кричи «За Сталина», я бы закричал. Но и в этом случае ничто не помешало бы мне быть по отношению к Сталину на той же позиции, которая выражена на предыдущих страницах.

Данный абзац — новый. Он появился через месяц после выхода книжки в связи с намерениями поставить памятник Сталину, приурочив это событие к 60-летию Победы. Он, дескать, был Верховным Главнокомандующим…! При этом стыдливо выводят за скобки репрессии, думая, что только они и есть темное пятно на его «светлой» деятельности (а мы и сейчас с удовольствием готовы про них забыть, как будто их вовсе не было). Но какой же он военный деятель?! Неужели предвоенного уничтожения многочисленной и самой квалифицированной части командования армии, преступного просчета в определении сроков начала войны, пяти миллионов военнопленных, сдачи врагу огромной территории страны, неумелых и нелепых приказов, благодаря которым стала возможной гибель войск генерала Кирпоноса осенью 1941 г., катастрофа наших войск под Харьковом летом 1942 г., давшая начало наступлению противника на Сталинград и Кавказ — неужели всего этого недостаточно для того, чтобы перестать, наконец, наделять Сталина не присущими ему свойствами полководца?! А чего стоит едкий отзыв маршала Рокоссовского, что «он, главнокомандующий, только к концу 1944 г. научился правильно задавать вопросы»!

Да вовсе не Сталин им (кому? — без труда нозовете сами!) нужен, а нужны его методы управления. Хотим отдать на блюдечке с голубой каемочкой? Предлагаю проект памятника. Фигура вождя вырастает из груды (утопая в ней по колено) черепов, как на картине Верещагина «Апофеоз войны». Сама груда

покоится на барабане, по поверхности которого размещены за колючей проволокой тачки, движимые изможденными телами заключенных, бревна лесоповала, бредущие колонны наших пленных, картины расстрелов и пр., пр.

XI. Тридцать лет и более после Победы

Не раз упоминавшееся Моршнское стрелково-минометное училище — это отнюдь не только короткий эпизод в жизни. Оно в значительной степени определило мою судьбу в юности и проложило целую полосу во второй половине жизни. Летом 1976 г. пришло письмо из Ростова на Дону. Меня разыскал бывший курсант, с которым мы были в одной роте, хотя и в разных взводах. Александр Тимофеевич Ермилов. Он помнил, что я из Москвы. Продолжая служить в армии офицером военкомата, он с успехом применил усвоенные им приемы служебной переписки и розыска. Потом он разыскал в Уфе Шамиля Нурлыгаяновича Мустафина. Оба они приезжали ко мне в гости. Нескольких суток не хватило для воспоминаний. Замысел А. Т. Ермилова — собрать уцелевших выпускников училища — можно назвать и благородным и героическим.

В мае 1977 г. в Моршанске состоялась первая встреча бывших курсантов нашей роты. Приехав рано утром на станцию Моршанск и отметившись в городском Доме пионеров (Кто же принимал более активное участие в организации встреч фронтовиков, чем пионерские организации и их руководители!), я получил направление в гостиницу «Цна», названную так по имени протекающей через Моршанск реки. Открыл дверь в номер и сразу, в ту же секунду узнал всех их: С. Ф. Марин, Ю. А. Усатенко, И. Н. Калашников, А. В. Устинов, А. А. Аблаутов, М. П. Мирясов, И. И. Вавилкин, Н. М. Точилкин, И. А. Коновалов, А. М. Отливщиков, А. Ф. Федотов, Д. С. Чугаев, А. С. Зайцев, П. К. Мыльников. Ну, и меня узнали. Абсолютно те же лица, только постаревшие на тридцать три года. Собрались все вместе и завтракают, вареная колбаса, батон, чай. Как будто получили сухой паек. Можете ли Вы представить себе, что звучало в первом возгласе узнавания?!.. И тут же оказывается: Кокорин — убит. Конюхов — убит. Москаленко — убит. Школьников — убит. — убит, — убит, убит… На первую встречу нас приехало не более двадцати из ста двадцати. На последующие встречи приезжало больше, но уже из других рот и батальонов. Ближе всех друг другу были, конечно, мы, перечисленные выше, из одной роты. В конце 2003 г. А. Т. Ермилов, главный организатор розысков и встреч, собрав многочисленные сведения о встречах и их участниках, публикации моршанских газет, письма, издал книжку «Вас помнит мир спасенный» (Ростов н/д, «Новая книга», 2003)

Титаническую работу по организации встреч вела жительница Моршанска, самоотверженная и мудрая Римма Константиновна Ананьева. Я с благодарностью вспоминаю командира роты М. М. Чернийчука, командира взвода А. И. Коновалова, командиров трех остальных взводов А. Мордынского, П. Иванова и П. П. Сороколадова. С Ермиловым и Чугаевым переписываемся до сих пор, а с москвичами А. С. Добрыниным и Ю. К. Мишиным — встречаемся и перезваниваемся.

Одних только моих собственных воспоминаний об училище хватило бы на целую книгу…

Можно ли забыть поздравительную открытку А. Ф. Федотова из дер. Н. Кибекси Цивильского р-на Чувашской АССР ко дню Победы в 1978 году?

> «Дорогой Юрий Львович! Во-первых с праздником нашим — с днем Победы над злейшим фашизмом, где потерял здоровье и маюсь по сей день, которая не повторилась бы никогда и учесть войны не знал бы ни кто».

Можно, конечно, написать грамотней, но боюсь, исправив все ошибки в этой фразе, написанной на одном дыхании, мы выхолостим из нее всю страстность и глубину переживаний. Ошибки каким-то замечательным образом только подчеркивают внутренние достоинства фразы. Эту открытку я храню…

Иван Николаевич Калашников жил в г. Никольске Пензенской области. И я удивлялся, как он, с искалеченными рукой и ногой, опираясь на костыль и палку, добрался до Моршанска. У него была серьезная причина: неустроенность с жильем. По его просьбе мы сочинили письмо в Никольский горвоенкомат и все подписались под нашим «фронтовым» ходатайством улучшить жилье инвалиду войны. Больше чем через год, в октябре 1978 г. от Калашникова пришло письмо: «Дорогой Юра, если у тебя есть знакомые в Пензенском обкоме партии, помоги мне: секретарь Никольского горкома партии вычеркнул меня из списка очередников на получение жилья…» и т. д. На максимально высоком уровне моих пензенских знакомств находились госпитальные сестры и нянечки-санитарки в Сердобске и Башмакове, а также молочница на привокзальном базарчике станции Башмаково: у нее я покупал ежедневную кружку «квашенки», которую мы теперь зовем ряженкой. И имен-то их я не помню. Знакомых же в пензенском обкоме, равно как и в любом другом обкоме партии, у меня, слава богу, не водилось. Но сослаться на это обстоятельство, как на извинение: дескать, знакомых нет, помочь не могу, — рука не поднималась. У меня

квартира в Москве, а у него и в Никольске нет крыши над головой… Не зная, что ответить, я молчал. Но время шло. В какой-то момент — это было в ноябре — меня осенило. Дело в том, что из офицерского резерва 4-го фронта нас осенью 1944 г. направляли в две армии: 1-ю гвардейскую и 18-ю. Они и составляли 4-й Украинский. Калашникова послали в 18-ю. Начальником политотдела 18-й армии был Л. И. Брежнев. В семидесятые годы прошлого столетия этот факт почти доминировал в общественной жизни страны, а уж в военной биографии Брежнева — доминировал безусловно. С приближенными к Брежневу ветеранами он фотографировался, снимки печатались в газетах.

Выходило, Брежнев и Калашников — прямо-таки однополчане. А высокие лица во все времена известно с каким покровительством выделяли однополчан. За десять минут я отбарабанил на машинке письмо генеральному секретарю ЦК КПСС, которое начиналось обращением: «Дорогой Леонид Ильич!» Ради себя я и под расстрелом не вымолвил бы таких слов. А ради другого — легко и просто.

Ровно через три недели я получил письмо из… пензенского обкома партии. (Наконец-то у меня появился знакомый в пензенском обкоме!) Секретарь обкома клялся мне, что при ближайшей сдаче новостройки Калашников получит квартиру. Так оно и случилось. А Калашникову, когда его пригласили к секретарю никольского горкома, девушка-секретарша промолвила, открывая перед ним дверь к «самому»: — «Ну, у тебя и рука в Москве!» Это, стало быть, про меня…

К сожалению, сам Калашников недолго наслаждался новой трехкомнатной квартирой. Через четыре года его сразил рак. Об этом мне написала его дочь.

Другая история связана с Игорем Рукавичниковым. Из одной и той же роты училища в 71-й полк попали именно мы с ним (точнее сказать, в одной роте мы оказались с ним, когда за месяц до выпуска слили две роты 4-ю, мою, и 3-ю, его). Не помню, каким образом, но командир полка взял его к себе адъютантом. Маленького роста, юркий и расторопный, он вполне подходил на эту роль. Всякий раз, когда мы встречались на КП полка, он из-за спины командира полка подмигивал мне. А случалось, снабжал меня (в соответствии с современным речевым шаблоном) информацией обо мне же. Это мне помогало. Свой человек в штабе! Дня за два до обещанного мне расстрела и ранения в поиске я обнаружил, что у командира полка другой адъютант, а Игоря перевели в батальон. Больше ничего мне о нем узнать не привелось. Я угодил в госпиталь. В первые же дни после моего

возвращения в полк, во время боя за Грабине, откуда драпанул 256-й полк, я услышал: «Рукавичников тяжело ранен». Он командовал ротой. Сами того не зная, в этом бою мы были почти рядом. Но опять не увиделись. Мне долго не удавалось найти Игоря. Военкомат Вязьмы, где до войны жил Игорь, ничего сообщить о нем не мог. И вдруг в самом конце восьмидесятых годов А. Т. Ермилов присылает мне точный его адрес. Он живет в Риге. Немедленно пишу ему и вспоминаю обстоятельства того боя за Грабине.

Вот два его письма (исправив орфографию, сохраняю стиль и пунктуацию):

«Юра дорогой Здравствуй!

Пишу тебе письмо и дрожат руки очень волнуюсь. Мы же с тобой были однокашники и воевали в одном полку, в полку в начале были все нам чужие и незнакомые и как с ними обращаться не знали, близкого как ты у меня не было. Я с тобой делился как с братом, что ты мне писал все так как было. Извини меня что я задержал письмо и не поздравил тебя и твою семью с праздником 70 лет октября. Я немного приболел с 15 сентября по 12 ноября находился в больнице в плохом состоянии, дают знать старые раны. Я живу в Риге с 1947 г. В данный момент не работаю нахожусь на пенсии по инвалидности, инвалид II гр. у меня 2-х комнатная квартира, гараж капитальный, машину получил уже третью Запорожец. Пенсию получаю 140 р. и надбавку на бензин 260 руб. в год. Жена у меня хорошая, дети живут — т. е. зять и дочь живут в отдельной квартире имею внучку Женичку. В следующем письме напишу все подробно как и где мы расстались.

До свидания мой дорогой друг. 19.11.87 г.»

«Дорогой Юра Здравствуй!

Получил я от Мыльникова Петра письмо и заодно пишу тебе. Он пишет, что ты дал ему мой адрес и он написал мне письмишко. Он просил меня, чтобы я написал нашему комроты Шарапову Н. В. ты его помнишь, у него была медаль «За отвагу» и вроде покалечена рука, кисть. Адрес у меня есть хотя он меня в Моршанске сажал на губу, ну ладно кто старое помянет тому глаз вон. Юра я хочу у тебя спросить про свою

судьбу, может ты чего знаешь обо мне когда меня ранило (выделено мной.) Ранило меня 23 апреля 1945 г. на рассвете в наступлении. Помню что я был ранен в живот и в левое бедро и еще помню что какой-то мл. л-т меня перевязывал, потом потерял сознание и ничего не помню, когда немного очухался смотрю лежу под деревом на плащ-палатке и возле меня убитый солдат наверно он меня тащил и все…опять потерял сознание и больше ничего не помню, очухался в какой-то палатке когда начали меня обрабатывать вся грудь была ранена в осколках три осколка ранило грудь и один подбородок и еще рука правая, пуля попала в икру (наверно, в плечо, — примеч. мое) и вышла в ключицу. Ничего не могли с меня снять, все разрезали потому что было потеряно много крови и она вся присохла к гимнастерке и нижнему белью. Когда я очухался в госпитале, документов нет, ордена сняты, и я долго не мог говорить рот открываю а сказать не могу, после госпиталя документы разыскали, а ордена только через 28 лет. Что я хочу сказать когда я написал в г. Ленинград в архив они мне прислали справку о ранении что я был трижды ранен и валялся в госпиталях. Юра если ты что знаешь то напиши. Ну да ладно, об этом все при встрече поговорим.

Целую, Игорь».

Встретиться нам не пришлось. Но в каком же положении оказался человек, если он просит своего товарища рассказать о своей судьбе, надеясь, что этот самый товарищ находился поблизости. Между нами вдоль цепи, по моим представлениям, было метров двести. Поблизости это или нет?.. В тот момент мы отбивали Грабине. А о ранении Игоря я узнал только после боя.

Встречались суждения, что награды, полученные в 41 — 43-м годах, ценней, чем те, что заработаны кровью позднее. Авторам таких суждений стоит поставить себя на место Игоря Рукавичникова. Может быть, не нюхав пороху, они поостерегутся левой пяткой вертеть трагедию войны то так, то эдак, на свой вкус.

Вместе с тем этика людей моего возраста, т. е. от 1923 до 1926 года рождения, каким бы ни был наш личный вклад в Победу, обязывает нас каждую минуту помнить, что мы вступили в бой под прикрытием миллионов тех, кто встретил врага летом 1941 года. Их отвага и гибель создали ту атмосферу, которая

позволила нам ощутить и осознать свои возможности вести бой. Они сначала защитили нас своими телами, а затем дали нам моральные силы воевать. Мы учились на их бедах.

Да что там говорить…Всякий, принявший свой первый бой вчера, становился богатейшим источником военной премудрости и бесценного опыта для вступившего в бой только сегодня.

XII. Нечто о современном

Что бы там ни было в прошлом, мои воспитание, убеждения и симпатии — социал-демократические. Как бы ни издевались поклонники жесткого капитализма над шестидесятниками, я принадлежу к последним. За шестидесятниками — благородство. Думается мне, что нынешние отрицатели шестидесятников преследуют весьма понятные цели: они пытаются оградить себя от укора заведомых противников оголтелого обогащения.

И я не отрицаю социализма. И его человеческое лицо мне было бы мило. И я не усвоил (и не усвою) теорию, по которой только на ортодоксальном капиталистическом пути можно добиться высокой производительности труда. Насиловать свою психику мне поздно. Тем более что сравнение совсем недавнего прошлого с настоящим не делает чести ни тому, ни другому.

Чуть ли ни в ранг основного экономического закона того социализма возводился принцип «максимального удовлетворения постоянно растущих потребностей трудящихся». В начале восьмидесятых, возвращаясь вечером с работы и зайдя в универсам, всякий раз я был действующим лицом такой сцены: человек двадцать-тридцать напряженно всматриваются в пространство за полуоткрытой дверью «подсобки», откуда вот-вот должны выкатить коляску с расфасованной вареной колбасой. Когда коляска появляется, все бросаются к ней и, отталкивая друг друга, все-таки ухватывают свой кусок. Эта потребность и называлась «постоянно растущей», потому что даже ее не удавалось удовлетворить.

Чем эта картина отличается от непрерывных разговоров о неуклонном росте производства в России начала двадцать первого века, когда рядовой гражданин этого роста не ощущает, когда и не растущие потребности постоянно не удовлетворяются, а упомянутый универсам превратился в «Патерсон шаговой доступности» с таким ценами, которые на двадцать-тридцать процентов выше цен на рынке, расположенном в двух километрах и находящемся под постоянной угрозой закрытия, и эта угроза нависла и портит настроение. Настроение портит нескончаемый ряд и других факторов, перечисление которых отнюдь не добавит оригинальности повествованию.

В последнее время забрезжила надежда на положительные сдвиги. Но кто поручится за результат?..

А пока что события складывались и продолжают складываться вот в какую гримасу. В конце восьмидесятых годов

прошлого века околополитические скоморохи с гиканьем отплясывали на марксовой формуле «экспроприаторов экспроприируют», расшифровав ее как «грабь награбленное». Бесспорно, речь шла о награбленном. Но у Маркса не было и речи о разграблении, так как вторая часть формулы, т. е. «экспроприируют», означала превращение частной собственности в общественную. Казалось бы новой власти ради политической порядочности не подобало следовать вульгарной интерпретации формулы Маркса. Но она не устояла перед соблазном и пошла на поводу у своих околовластных скоморохов. Не рискнула занять принципиальную позицию: чего доброго, назовут «совками».

Более того, она не только инициировала обратное превращение общественной собственности в частную, что будто бы само собой разумелось и считалось неизбежным, но сделала это с такой поспешностью, что обратное превращение стало подлинным разграблением. И разграблением вовсе не награбленного, а заработанного честным и тяжелым трудом. При этом подвергся остракизму и насмешкам принцип социальной справедливости.

Надо признать однако, что в полном соответствии с формулой «грабь награбленное» на наших глазах происходит стихийный пересмотр итогов приватизации: вооруженный захват предприятий и силовая смена их владельцев. Так что те, кому мила именно такая интерпретация марксовой формулы, могут быть вполне довольны.

Прошло совсем немного времени, и новая несуразица, теперь уже вокруг «льгот», разыгрывается опять таки по сценарию, если не разграбления, то ограбления одних нищих в пользу других нищих. Правда, слово «ограбление» здесь мало подходит. Что можно награбить у нищего. Лучше сказать: «отобрать у одних нищих, чтобы отдать другим». Именно замена льгот деньгами (причем, совершенно неэквивалентная) теперь называется осуществлением социальной справедливости. От такого сальто можно обалдеть. В новой интерпретации принцип социальной справедливости, нещадно искажая его, пришлось провозгласить вицепремьеру Жукову. Я сочувствую ему: он понимает, что в этот момент расстается с симпатиями соотечественников, а потому его глаза выдают плохо скрываемую печаль.

Начинающийся абзац я вношу в электронный вариант книжки также более чем через месяц после ее выхода в свет. Он вызван теми событиями, которые произошли благодаря закону о монетизации льгот и его бездумной реализации. Закон свидетельствует о тщательно маскируемой бесчеловечности власти. Министр финансов пытается сгладить остроту вопроса

тем, что «только один процент льготников» принял участие в митингах протеста против отмены бесплатного проезда в городском транспорте. В самом ли деле министр не понимает, этот «только один процент» вовсе не означает, что остальные девяносто девять с ними не солидарны или относятся к монетизации индифферентно? Оправдываясь, разве забыл министр, что начиналась вся затея с предложения таких ничтожных выплат, которые обнажали всю жадность власти по отношению к своим старикам, в том числе и к бывшим фронтовикам. Разумеется, министр финансов должен более всего радеть об экономном расходовании средств государства. Но способы экономии бывают разные. Экономия, преследующая гармоничное развитие общества, это одно. Экономия же любой ценой — это поведение рядового бухгалтера, а не члена правительства того государства, которое провозгласило себя социальным. Выдает себя с головой почти паническая забота уйти от социальной напряженности. Не здравый смысл, не истинная забота о людях, а забота о пресловутой социальной напряженности. Как будто кто-то сидит у переполняющейся чаши терпения и измеряет с точностью до микрона, доходит до края или нет. Еще не переливается? Ну и слава Богу! Прямо-таки новая функция демона Максвелла, бдительно отделявшего быстрые молекулы от медленных И еще один признак безнравственности власти: ее ветви из кожи лезут вон, чтобы свалить ответственность за принятие порочного закона с себя и переложить ее на другую. И это благородство? Да ну его, это благородство! Достаточно помнить русские пословицы: «Чем кумушек считать-трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?», или «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!» Разве Зурабов и Исаев, пропагандируя размеры монетизации, не в унисон по радио и телевидению дырявили наши барабанные перепонки с такой силой, что поверхности упомянутых вещательных устройств нуждались в удалении с них осадков, выделяемых во время не в меру азартной речи? И, наконец, никто никого не тянул за язык убеждать, что ущерба от монетизации никому не будет. У фронтовиков, например, отобрано право бесплатного разового ежегодного проезда в купейном вагоне в любом направлении туда и обратно. Оно заменено иллюзорной возможностью раз в четыре года получить бесплатную путевку в санаторий с бесплатным проездом к месту отдыха. Это отнюдь не эквивалент.

Есть непреложные физические факты: например, скорость света конечна, и не существует скоростей, превосходящих ее.

Нельзя утверждать с такой же категоричностью, что социализм не может быть построен. В Европе немало стран, в которых социализм построен.[35]

В то же время, как только стало можно, все европейские страны с социализмом советского образца мгновенно дали от него деру. Главнейшая из причин: он был окровавлен сталинизмом, который надолго лишил его привлекательности. И в этом состоит главное преступление сталинизма перед историей. Все уродство современных производственных отношений в России — это тоже производное от уродств сталинизма. Из разлагающегося уродства сталинизма немедленное благолепие высвободиться не может! Я настаиваю на этом.

На протяжении десятилетий середины двадцатого века в нашей стране на разных уровнях констатировалось, что производительность труда в нашей промышленности и особенно в сельском хозяйстве значительно ниже, чем в развитых капиталистических странах. Как сочетать это с тем утверждением В. И. Ленина, что победит в конечном счете тот общественный строй, который обеспечит более высокую производительность труда. Либо она, эта производительность у нас принципиально не могла быть повышена (в чем я сомневаюсь), либо ее повышать не хотели, надеясь, что вывезет кривая. В обоих случаях исход закономерен. А обвинять Горбачева и Ельцина в «развале» СССР — нелепо. Посмотрел бы я, что произошло, если бы Клинтон и Буш вознамерились «развалить» США! Они немедленно превратились бы в пух…

Вся жизнь России требует, чтобы ее народ, правители, лидеры партий и движений, все претенденты на влияние, да и каждый ее житель относились к ней бережней, чем это происходит на самом деле, когда все, кому не лень, рвут ее на части, объявляя именно себя ее спасителями.

Даже если ограничиться только последними тремя веками, то вклад России в культуру, науку, литературу и искусство мира переоценить невозможно. И кто станет спорить, что вклад именно в этих областях определяет положение стран и их народов в мировом ранжире. А потому вполне понятно, на какое положение в этой шкале может претендовать Россия. И она по праву на него претендует.

Творцами всего того из выше перечисленного, что дала миру Россия, были люди, обладавшие и средствами, и свободным временем, без чего творчество невозможно. Но эти возможности доставлялись им в основном огромной массой людей тяжелого, а подчас и подневольного труда. И эта же масса людей поставляла

в котел творческого процесса, как полуфабрикат, свои страдания, которые оплодотворяли всю духовную жизнь народа. Без них, кому не ясно, не было бы, например, Достоевского.

Иначе говоря, весь строительный материал русской культуры поставлялся тяжелым мучительным процессом, имя которому — вся несчастная российская жизнь. Однако всякое производство небезотходно. Отходами упомянутого взаимодействия жизни и культуры были угнетенность, скудная жизнь, нищета и темнота, забитость и невежество. И вот вслед за всем передовым и блестящим, необычайно высоким, что было на острие жизни России, которое представляло ее миру, не говоря уж о Победе в войне против фашизма, тянулся и, надо сказать, тянется до сих пор весьма мрачный шлейф горестей и неустроенности. Движитель оказывается одновременно и тормозом. Это тот контраст, который препятствует полнокровному развитию России как великой державы. Сокращение разрыва — залог избавления России от ее несчастий.

Я не претендую не только на роль носителя истины в конечной инстанции, но и на приоритет нескольких предыдущих мыслей. Идеи носятся в воздухе. Тем более не претендую на полноту моих рассуждений. Они — всего лишь очевидная и примитивная схема.

Мое фронтовое прошлое будит во мне размышления и другого рода. Бывший полковой разведчик, каковым мне пришлось быть с осени 1944 г. и до конца войны, я вспоминаю, как возвращаясь с задания, с удачей или без нее, мы всегда получали привет и приют в любом блиндаже у любого ротного. Всегда находилось, чем нас обогреть и подкрепить. Разведчиков любили, ждали, что принесут они, чем обрадуют или огорчат. Командир полка никогда не принимал решения без обстоятельных сведений о противнике. Серьезная доля сведений о противнике, особенно в его оперативной глубине, поступала, конечно, из дивизии, которая обладала более мощными разведывательными возможностями. Но все, что было непосредственно перед фронтом полка, командир полка добывал с нашей помощью. Нам частенько попадало, но мы чувствовали и заботу о нас.

Почти 50 лет, если не считать учебы в Ленинградском университете, я занимаюсь наукой. С болью воспринимаю я то, что происходит с нею в данное время. Большая часть общества отшатнулась от науки, которая некогда была его любимицей.

Я спрашиваю, роль полковой разведки в полку не аналогична

ли значению фундаментальной науки для общества? Как бы назвали командира полка, пренебрегавшего разведкой? Правильно! Перенесите, пожалуйста, эпитеты, которые мелькнули у Вас в мозгу, на тех людей в нашем обществе, которые воображают, что они правильно относятся к науке, предъявляя к ней только сугубо потребительские претензии.

Это сравнение пришло мне в голову лет десять тому назад, когда некоторые члены нашего общества со злорадством и ликованием восклицали: «Да кому эта наука нужна!» И тут сыграл роль инстинктивный импульс защитить науку от поругания. Я не переоценивал своей выдумки. Более того, даже стеснялся ее, боясь, что собеседник воспримет ее, как некую попытку старого (упертого, по новой терминологии) вояки перенести свои солдафонские взгляды, на нашу до невозможности современную и цивилизованную почву. Это логическое построение представлялось мне примитивным. Оказалось, что нет! Когда я, как бы извиняясь, готовый согласиться с тем, что формула «разведка = наука» банальна, сопровождал рассказ о ней сомнениями, сформулированными выше, я слышал от весьма уважаемых мною людей: «Что Вы, что Вы, все очень правильно». Но если это так на самом деле, если в нашей жизни есть самоочевидные образы, подтверждающие нужность фундаментальной науки, то почему же к ней так относятся?

Однажды Президент Академии Наук СССР академик А. Н. Несмеянов сказал, что научная работа — это вечный поиск и неудача; так чего же и нос задирать. Вот и войсковая разведка — это тоже «вечный поиск», и, конечно, в ней тоже больше неудач с людскими потерями, чем удач с захватом «языка». Мы тоже не задирали носа, особенно, когда получали по морде.

Некоторая игра слов здесь налицо. Научный поиск, и поиск как вид боевых действий, разумеется, разные вещи. Но какова бы ни была разница в содержании понятия «поиск» в науке и в разведке, — цель у них одна — добывание истины. В науке истина — это сведения о законах природы. В разведке — это тоже сведения, но не о законах природы, а о противнике.

В лексиконе разведчиков было выражение «ночной поиск». Ясно, что это такое. Ученый зачастую тоже ведет ночной поиск, когда, решая свою задачу, он теряет сон.

Предыдущие несколько абзацев служат только одному: привести хотя бы еще один довод в защиту науки, помочь ей даже ценой таких аналогий. Но что же происходит в обществе и государстве, если для утверждения непреложных истин приходится прибегать к таким средствам, очень похожим на соломинку, за которую хватается утопающий?!

Полагаю, что вершители судеб и финансирования науки, держат ее на полуголодном пайке, не без оснований надеясь на то, что благородство ученых и преданность своему делу подвигнут их пренебречь материальным и приземленным ради возвышенного. Но, честное слово, так эксплуатировать высокую нравственность — по меньшей мере непорядочно. Можно бы выразиться покрепче, но хочется казаться деликатным.

Через несколько дней после того, как было написано это слишком интеллигентное (по нынешним временам) слово «непорядочно», произошло событие, которое заставило меня устыдиться своей деликатности. 16 октября 2003 года в радиоэфире состоялась беседа с вице-президентом Российской академии наук академиком Н. А. Платэ. Крупнейший ученый и организатор науки, внук знаменитого академика-химика Н. Д. Зелинского и сын замечательной художницы Р. Н. Зелинской, представитель высочайшего российского интеллекта, носитель идей прогресса и культуры вынужден был (в весьма корректной форме) жаловаться ведущему радиопередачи на принятие Государственной Думой закона о лишении Российской академии наук налоговых льгот на имущество (в отличие от предоставления этих льгот спорту и церкви). При нищенском содержании науки этот ничем не оправданный акт ставит ее перед гибелью. И это сделали люди, которым невдомек, что перед наукой вообще, и перед ее главой, в частности, они должны стоять с непокрытой головой, а уходя, не иначе, как пятиться спиной, не смея поднять глаз. Это непонимание лишний раз подчеркивает всю их ничтожность и серость. Сдается мне, что такой поступок думцев льстит их самолюбию, дабы ничто так не возвышает посредственность, как возможность насолить тому, кто превосходит ее по духу и интеллекту.

За несколько дней до передачи этой моей книжки в издательство, т. е. почти через год после события, описанного в предыдущем абзаце, состоялась аналогичная радиобеседа. Снова вице-президент Российской академии наук академик Н. А. Платэ, а вместе с ним академик-секретарь Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления В. Е. Фортов, вынуждены были жаловаться радиоведущему, а значит, российской общественности, на угрозу, нависшую над Российской академией. Эта угроза состоит в намерении власти обкорнать Академию с помощью некоторой готовящейся в чиновных недрах реформы науки. Авторы этого позорного проекта никогда и ничего для науки не сделали, не получили ни одного научного

результата. Однако никто из власть имущих не одернет их и не напомнит им, что наука России неприкосновенна!

Не глумление ли над одной из форм общественного сознания, когда она в лице своих высших представителей вынуждена апеллировать к обществу и власти через рядовой пункт расписания ежедневной радиопрограммы?! Было бы достойным великой страны, если бы ее глава сам пригласил своих выдающихся ученых в удобное для них время обсудить нужды науки и перспективы ее развития. Было бы достойным т. н. «настоящего радио», если бы один из его ведущих поблагодарил судьбу за оказанную ему честь беседовать о науке, да еще с такими ее творцами!

И еще, просто глупо пытаться смягчить сожаление по поводу интенсивного отъезда российских ученых за границу разговорами о том, что это, видите ли, одна из положительных сторон глобализации, свидетельство высокой котировки наших ученых на мировом рынке научного труда. Фальшивое утешение! Но оно звучало с экрана телевизора из уст действительного члена Российской академии наук.

Как будто у нашей науки не было другого способа подтвердить свои высокие качества. Не выдерживает критики также и попытка внушить уверенность в обязательном возвращении уехавших ученых на Родину. И во всем этом нет ни слова о том, что отъезд каждого специалиста из России снижает общий уровень интеллекта. Если был прав Андрей Платонов, когда говорил, что без него «народ не полный», то что же можно сказать о потере сотен тысяч специалистов, составляющих мозговой концентрат страны?! Есть, оказывается, люди, которые умиляются этому несчастью! Или, может быть, снова в ходу крылатый перл «незаменимых людей нет и не бывало». Да и глобализация какая-то странная, неравноправная, несправедливая. Нас она, мол, необычайно возвышает, давая повод гордиться своим ученым, предоставляя возможность наслаждаться их высокой котировкой на мировом рынке интеллекта. Подумайте только, какой источник счастья! Выходит, чем больше ученых уедет, тем выше наша законная гордость. А вот несчастным американцам и немцам не повезло. Их ученые почему-то никуда не уезжают — к нам, например, чтобы поднять престиж Америки… Разве что в отпуск на берега теплых морей и в путешествия. Видно, не котируются, бедолаги, так же высоко, как наши…

Более того, похоже, американцы даже и не торопятся применить выдавливание своих ученых из страны в виде лакмусовой бумажки для определения котировки своей науки.

Унижено знание, добываемое зернышко к зернышку кропотливым трудом. Торжествует агрессивное, скоробогатое невежество. Долог будет психологический путь, пока самодовольное, а подчас и злорадное, богатство с почтением склонится перед авторитетом знания и необходимостью помогать его накоплению.

Или, быть может, плыть по волнам бездумно-бодряческого: «Я верю, что Россия… и т. д.». Вот так, торопливо, без вдумчивого и честного анализа заявить о себе, о своих популистских взглядах, дабы приобщиться к туманной и не сформулированной национальной идее, но при этом и пальцем не пошевельнуть для реализации надежд…

XIII. Тенденции

Каким-то странным образом в значительной части нашего общества возникает контур одинакового отношения к двум трагедиям века. Зачастую бывает, от фронтовых записок требуют обязательно философских обобщений. Просто личные впечатления, или просто описания боев с их невыносимыми подробностями уже не всех занимают, уже набили оскомину, уже не воспринимаются, не доходят до сердца. Надоели, видите ли. А ведь об этих испытаниях рассказывает живой человек, который сам вынес их своей плотью. Если уж и не представить себя на его месте, то хотя бы не только из уважения к нему, но и к себе, следует выслушать его, дабы перед окружающими, что ли, не выглядеть черствой шкурой барабанной. Представьте себе, что совершенно чужой Вам человек, измученный, скорчившийся в сыром окопе, который не в силах даже поесть, который мечтает только несколько минут поспать, — это Ваш дед, отец или брат. Он не вернулся с войны, а Вы в своем многоэтажном благополучии недовольны, что телевидение или книга снова возвращают Вас к тем временам. Достойно ли это?! К тому же, господа просвещенное общество, неужели вы забыли про две такие философские категории, как «единичное» и «всеобщее». Их связь я расшифровывать не буду, рассчитывая на обширность ваших познаний. Более того, вы, я уверен, не забыли и про «случайность» с «закономерностью» (помните, через массу случайностей пробивает себе дорогу закономерность), вы только делаете вид, что не принимаете этих категорий во внимание. Иначе Вас заподозрят, чего доброго, что Вы протягиваете ниточку к «сакраментальному» и осмеянному определению: «свобода есть осознанная необходимость». Ведь тогда, страшно подумать, «что станет говорить княгиня Марья Алексевна!».

Когда не останется ни одного фронтовика, тогда не останется ничего, кроме как заниматься чистыми философскими обобщениями, благо, они уже не будут бередить души покойников, а сами покойники, слава создателю, не будут путаться под ногами со своими воспоминаниями. Но нельзя же не понимать, что высокого уровня абстракции, к которому заведомо будет стремиться добросовестный исследователь, можно добиться только расширением и углублением фундамента конкретного.[36]

Есть и другая, аналогичная тенденция. Вот цитата из вполне доброжелательной рецензии («Знамя», 2003, № 9) на вполне хорошую книгу. «Законный вопрос: что нового может сказать нам автор, когда романы, повести и рассказы о сталинских

репрессиях, войне и фашистском геноциде пишутся уже не одно десятилетие, когда они представлены читателю и зрителю во всех мыслимых и немыслимых подробностях?» (Слава богу, в рецензированной книге автор сказал много нового, и, таким образом, вопрос, заданный рецензентом, риторический.) Я опускаю имя автора рецензии и название обсуждавшейся книги, так как это не имеет ни малейшего значения. В данном тексте это не первая ссылка на журнал «Знамя». При большом желании можно разглядеть в них отрицательный оттенок. Прошу не подозревать меня в плохом отношении к журналу. «Знамя» — мой любимый журнал. Только на него я подписываюсь и только его читаю. Поэтому и ссылаюсь только на него. Чтобы отвести от себя подозрение в плохом отношении к журналу «Знамя», здесь я сошлюсь на № 8, 2002. На мой взгляд в статье «Иосиф Виссарионович меняет профессию» Николай Работнов на стр. 209 совершенно убийственно развенчал этого «недочеловека» вместе с Гитлером. Заодно он показал всем тем, кого недочеловек из своей могилы до сих пор держит за фалды, их ничтожность. Я завидую Николаю Работнову. В литературе нет ничего подобного. Мне ни за что не удалось бы написать о Сталине с такой же силой. Лучше сказать — невозможно. Поэтому я прошу у читателя прощения за то, что все-таки задел эту тему по совершенно личным мотивам.

Так вот, на самом деле о сталинских репрессиях нового сказать можно очень много. Автору рецензии только кажется, что нечего сказать. На самом деле ничего и не сказано. Любое архивно-следственное дело 37–38 годов — это готовый киносценарий, но никем из кинодраматургов не реализованный. Каждое такое дело даже без литературной обработки — это книга, пьеса.

Путь от ареста до расстрела был всюду одинаков. Трагедия безвинной жертвы и подлость высшей власти — вот что не показано и не описано во всех ужасающих подробностях. Нельзя же, в конце концов, клоунаду в «10 лет без права переписки» или развесистую клюкву «Утомленных солнцем», где трагедия миллионов подменена бытовыми отношениями на фоне вздымающегося портрета полубога, считать художественными свидетельствами сталинских преступлений. Или так, может быть, и задумано — переложить всю ответственность за убийства ни в чем не повинных людей то ли на потерянного неудачника, политического подонка, то ли на обладателя лоснящейся рожи, жрущего огурец?! Я знаю только две ленты, где психология уничтожаемой жертвы и ложь следствия и пропаганды показаны глубоко и последовательно. Это «Человек из мрамора» Вайды и «Признание», чешский фильм о процессе Сланского.

Как записать и на чем это высечь,
Что неповинных вы сотнями тысяч
По лагерям увезли эшелонами,
Как рассказать о злодействе над женами?

Неужто все записано, все высечено? Вот уж поистине «век-волкодав», если так обкормил кровью, что даже и вкус ее перестал ощущаться, и кажется, что море, образованное ею, уже обошли все вокруг, по урезу, а берега окончательно изучены.

Ах как мне понравилось Мандельштамовское определение века! Еще бы, главное — в созвучии с повторяющимися звуками «век-волк…» Однако Мандельштам не мог знать, как через много лет противопоставил Солженицын два термина — волкодав и людоед. Спиридон в «Круге первом» говорит: «Волкодав — прав, людоед — нет». Так что справедливей, все-таки, «век-людоед». Хотя и приходится жертвовать благозвучием.

Век!.. При чем же тут век! Век — это отрезок времени. В нем просто было два людоеда, два вурдалака: Сталин и Гитлер, которые у Н. Работнова названы «недочеловеками».

В связи с этим не могу не сказать об одном абсурде. Несколько лет тому назад поэзия ГУЛАГа по воле одного парикмахера от поэзии стала подразделяться на два жанра. Один — это просто лагерь заключенных, с его людьми, их страданиями, тяготами и ужасами…

Другой — это, видите ли, лагерная лирика. Предпочтение отдавалось, разумеется, последней. Не вдаваясь в рассуждения по этому поводу, приведу еще один отрывок из стихотворения «Жены»:

Много же мужества было у каждой,
Чтоб продержаться два года, однажды
Свет засиял в нашей мрачной могиле:
Весточку детям послать разрешили.

Коротко… — адрес, два слова привета,
Как задыхались в тот день от волнения.
Как с замиранием ждали ответа
Месяц и больше в тоске и смятении!..

Страстно откликнулись бедные птенчики,
Вся всколыхнулася зона унылая,
Затрепетали конверты-бубенчики:

«Мамочка! Мамочка, мамочка милая!
Скоро ли кончатся наши мучения?
Ты о себе напиши заявление».
Пишут Калинину Леша и Ната:
«Папа и мама, ведь, не виноваты!»
«Мамочка, Толе, Володе и Шуре
Было обещано в прокуратуре,
Было серьезно обещано нам,
Будто ребятам воротят их мам!

Почерком школьным пестреют листочки,
Сколько их, сколько их — мальчики, дочки!
С гнезд потаскали их черные вороны
И раскидали на разные стороны.
Отняли радость и отняли дом,
И незаслуженным жгучим стыдом
Ранили детство, и голыми, нищими
Их к уцелевшим подкинули лишними.

Нет ни чулочек, ни платьиц у Вали —
Все опечатали, все отобрали;
Стонет старушка, что не в чем на зиму
Даже и в школу ей выпустить Диму.

Крошка, не помнящий матери ласки,
На фотографию детские глазки
Пялит со старшим братишкой Сережей:
«Это, скажи, и моя мама тоже?»

Таня, Володя, Светлана и Юра,
Зло обманула вас прокуратура,
Лгали в ответственном секретариате,
Маленьким лгали, Алеше и Нате.

Крошки, подростки ли, с бабушкой, с тетей,
Иль одиноко в детдоме страдая,
Вы понапрасну родимую ждете,
Детское счастье свое вспоминая.
Ждете напрасно, что что-то изменится,
И что приедет далекая пленница
С нежной улыбкою, с лаской знакомой
Взять дорогого из детского дома.

Мама, которая очень важна,

Мама, которая всем так нужна,
Мамы ученые и инженеры,
Те, кем гордились их Вовы и Веры,
Те, что учили заботливо в школе,
Те, что в больнице лечили от кори,
Те, что вели в небеса самолет,
Иль просто на кухне варили компот.

Только по свету распущена слава,
Будто дано вам великое право,
Но никогда еще злей и свирепей
Вас не ковали в железные цепи.

Не бесчеловечно ли требовать лирики от матери, которая бьется от безысходности и тоски по оставленным детям? В самом начале стихотворения, из которого взят этот отрывок, есть такие строчки:

Мать забирали — лежал в скарлатине
Маленький мальчик в московской больнице;
Ты бы письмом запросила о сыне,
Но у «начальника» не допроситься!

Хоть головою разбейтесь в кусочки,
Хоть изойдите слезами от муки —
Вам написать не позволят ни строчки:
Неумолимы железные руки.

И все это выносит несчастная, ни в чем (!!!) не повинная женщина. О ее невиновности известно a priori. И кому-то приходит в голову требовать от нее лирических стихов, написанных в лагере. Иначе, дескать, тема избитая. Забыли, про «Худые песни Соловью в когтях у кошки».

По-видимому, не лирическими объявляются и такие лагерные стихи, которые сочинила мама, когда ее подруги были отправлены в очередной этап, а она оставлена по болезни.

«Женщинам, отправленным в этап для сжигания сучьев на лесоповале»:

Я вижу Севера суровое величье,
Я вижу синюю мерцающую даль
И кротость ваших лиц в их красоте девичьей,
И ваших глаз усталую печаль.

Убором снежным пышно разодетый,
Я вижу вековой дремучий лес,
И в скорбном мужестве немые силуэты,
……
И по колено ледяной компресс,
И конвоир с ружьем наперевес…

Костров бушующих оранжевое пламя,
И едкий дым, и треск сухих ветвей,
И сердце каждое, тяжелое, как камень,
С туманным обликом оставленных детей.

Ах, неба синего бездонная безбрежность,
И спутник горя — серебристый смех,
И ваша хрупкость, и пугающая нежность…
Я вижу вас, я вижу всех.

В одном из писем тонкий и чуткий ценитель Н. Гумилев писал, что ему удалось найти пару новых рифм. Уверен, что рифму «компресс — наперевес» он оценил бы высоко. А уж то, что за ней… Только «век-людоед» и мог соединить медицинское средство со штыком.

Вопрос только, что хуже: по колено ледяной компресс, или штык у ружья, которое наперевес. Узнай Маяковский, что после него и как было приравнено к штыку…

Какие мамины стихи были совершенно лишены всякой лирики, так это «производственные». Их мама штамповала в открытую, в отличие от тех, что приведены выше. О существовании последних не мог и не должен был знать никто. Иногда маму водили в клуб для лагерного персонала, и она читала им про «норму», «трудовой героизм» и «соцсоревнование». Однажды стрелок, конвоируя ее в клуб, где начальство собралось на концерт, сказал: «Ну что ты им все про норму да работу! Ты напиши, как ихные дети уроки учат с електрицством, а у наших и карасину в лампах нет, все при лучине. Вот». Нашел-таки себе заступницу! И перед кем! Вот уж поистине нарочно не придумаешь.

А в другой раз мама грузила на телегу какие-то тюки. Возница заботился и о ней, и о лошади, которую звали Белка. Лошадь, по словам мамы. была изящным и стройным животным. Ее хозяин это сознавал, и потому относился к лошади соответствующим образом: за всю дорогу не употребил ни кнута ни ругани. На пути встретилась рытвина, Белка не могла вытянуть из нее груз. Все увещевания человека остались ею не услышанными. Не подействовал и упрек: «Я с тобою, як с дамою, а ты, як курва». «Разгружай», — скомандовал он маме, а сам стал заворачивать самокрутку. Через несколько минут сквозь дымок он сказал маме с участием и почти нараспев: «И чего они тебя, такую птаху, мучают…»

За поэтические успехи в пропаганде высокопроизводительного рабского труда от имени управления лагерей Севера и Урала маму наградили грамотой. Вместо привычного нам обрамления грамоты красными лентами, дубовыми листьями и прочими «бантиками», у этой — доски, привинченные шурупами к полю грамоты. По доскам — слабенький бледный растительный орнамент. «Живописные» элементы грамоты, как клейма на иконе, изображают весь процесс добычи и первоначальной обработки древесины: в его начале обозначен мачтовый лес. Затем пни и лежащие рядом спиленные плети и связки по девять бревен в каждой. Далее все, что сопровождает лесосплав, затем лесопилка. Процесс венчают товарные вагоны с отодвинутыми дверями и готовыми к погрузке штабелями досок. В слове «грамота» все буквы набраны из коротких деревянных планок, скрепленных между собой и привинченных к полю грамоты шурупами. Все слово подчеркнуто также длинной привинченной планкой. Всюду бревна и доски, доски и бревна. В тексте — и про режим, и про ударный, стахановский труд, производительность и массовость, а также и соревнование, которое названо трудовым, но не социалистическим.

Грамота помечена датой 7.XI.44. Через несколько дней после этой даты я был назначен командиром взвода пешей разведки стрелкового полка на 4-м Украинском фронте. Эти события были независимы.

Наша жизнь, как поверхность Луны, испещрена кратерами безнравственности: от огромных до едва различимых. Но Луна лишена защитной оболочки атмосферы, которая предохранила бы ее от ударов извне. Что же, за тысячелетия существования земляне так и не выработали иммунитета от эпидемий безнравственности?!

А наша страна, все еще переживающая постигшую ее катастрофу, так и мечется между безнравственностью, которую она не может преодолеть якобы из-за нищеты, и нищетой, которую, не преодолев безнравственности, так и не изжить.

Мое представление о моей собственной жизни противоречиво. В самом деле, я не имею права не считать себя счастливым человеком, не имею права жаловаться:

Война подарила мне теперь уже 59 лет жизни, в то время, как очень многие мои сверстники погибли. Мне 80 лет. Инвалид войны и пенсионер, я еще занимаюсь исследовательской работой и преподаю; мне бывает неловко жить, когда я узнаю о смерти и хороню людей моложе меня.

С детства усвоивший принцип разумного потребления, я материально не бедствую, хотя у меня нет ни дачи, ни автомобиля, отчего я никоим образом не чувствую себя ущемленным (формулировку «разумное потребление» я узнал только недавно; когда я его «усваивал», я не знал, что это так называется, так жила семья). У меня есть замечательные дочь и внучка и еще более замечательные правнучка и правнук. Теперь ей семь, ему на год меньше. Не задержаться на детишках нельзя. Хотя бы вот такой случай. Обладая к своим годам уже достаточно большим опытом воспитуемых, они решили, очевидно, что для его практического использования время вполне настало. «Ты будешь наш сын», — сказали они мне однажды. Я согласился. Через полчаса многочисленных воспитательных действий, иногда весьма противоречивых, я тихонько возроптал. Тогда мальчишка встал в позу, подбоченился и с интонацией, не допускавшей сомнений в ее происхождении, заявил: «Ты серьезно думаешь, что со старшими можно разговаривать таким тоном?» Чего же еще желать!

Однако есть вокруг меня еще то, что называется политико-моральным и психологическим климатом. Он отвратителен. Вот у А. С. Пушкина в «Истории села Горюхина» замечательно сформулирована вечная истина: «Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения».

Конечно, Пушкин ведет речь о народе, а не об отдельном человеке, и прямой проекции одного предмета на другой ожидать трудно. Все-таки какую-то привязку этапов отдельной жизни к трем временным категориям допустить можно.

Минувшее… Для меня оно было и счастливым, и горестным, интересным до увлекательности и нудным до отвращения, при

этом никто не может меня упрекнуть в неправедности моего существования: свой долг перед моей страной я исполнил; но самым ярким и неизгладимым было то, что можно назвать «я на войне»[37]

Я выполнил, что полагалось мне как мужчине, и при этом на мою долю выпал жребий остаться живым.

Я не только не питаю надежды на будущее (его у меня нет), но завтрашнего дня просто боюсь.

А настоящим кто доволен у нас? Я к тому же все время в готовности получить зуботычину то ли с экрана телевизора, то ли из радиодинамика. А то и на улице…

С другой стороны, не все потеряно. Ведь я самым непосредственным образом связан с молодежью. В первую очередь, это мои студенты. Конечно, мне бы хотелось видеть в них романтиков, какими были студенты в середине прошлого века. Наверняка среди них такие есть и сейчас. Но уж слишком много сил они тратят на заработки.

На настоящую учебу, какую я видел в 70-х годах, у них, за редчайшим исключением, не остается времени. И я не считаю себя вправе укорять их за это, хотя в душе и сожалею. А ведь умные и сообразительные люди. Важное обстоятельство: в последние десять лет на группу в 15–20 человек не более одного москвича в год. В этом учебном году ни одного. Несмотря на пессимистические ноты в этих рассуждениях, неизвестно, кто кому больше дает. То, чему я их учу, при большой необходимости они смогут прочитать сами в разных источниках (потратив, разумеется, значительно больше времени, чем слушая мои лекции). Меня же постоянное общение с ними держит на плаву. Хотя бы вот почему. Какая-нибудь формула или рассуждение в моей лекции отпечатываются на некотором молодом лице либо нахмуренными бровями, либо расширенными округлыми глазами. Потом вдруг наступает момент, когда лицо расправляется почти в улыбку, сопровождаемую еле уловимым кивком согласия. Понял и формулу, и рассуждение!

И как же меня всякий раз обескураживает очередное известие об отъезде моего выпускника за границу в аспирантуру или на работу. И я бессилен противопоставить этому что-нибудь, кроме сожаления.

И что я должен был испытывать, когда один из американцев, приезжавший на рубеже веков в Россию на симпозиум, сказал мне: «Откуда же нам брать, как не у вас?!» Пожалуй, это была более пощечина, чем похвала. Возвышающимся сейчас новым «отцам» нации на это наплевать… А может быть, выгодно? А может быть, на все вопросы уже ответил Фазиль Искандер

(«Знамя», № 2, 2004) перекрыв мой пролившийся выше интеллигентский плач только несколькими строчками:

И не новый сановник,
И не старый конвой —
Капитал и чиновник
Тихо правят страной,

Без особых усилий,
Знать не зная греха,
На глазах у России
Жрут ее потроха.

И далее

Вдохновенное племя,[38]
Где теперь твоя мысль?
Ты раздвинуло время —
И скоты ворвались.

Иногда меня приглашают в соседнюю школу к старшеклассникам на беседы по поводу военно-исторических годовщин. Я помню, как первый раз, это было несколько лет тому назад, я шел на такую встречу не без опаски. Ведь на улицах по вечерам я видел и слышал столько отталкивающего… Однако когда я пришел на встречу, я увидел несколько десятков молодых красивых умных и одухотворенных лиц… Беседа удалась.

Каждый год 9 мая я прихожу в Центральный парк им. Горького на встречу с однополчанами. Правда, это скорее «одноармейцы», т. е. ветераны 1-й гвард. армии. Но все равно общих воспоминаний очень много. Года полтора тому назад, в хорошую погоду мы сидели на солнышке за пластмассовыми столиками, помаленьку потягивали водочку. Обрывки фраз, вспышки воспоминаний, смех и грусть. Я думаю, каждый может представить себе, что такое встреча стариков-фронтовиков. Таких группок с транспарантами, на которых написаны номера армий и дивизий, всегда множество. Целые семьи с детьми в праздничном расположении духа прогуливаются тут же, с уважением и почтением рассматривают виновников торжества, заговаривают с ними, рассказывают про своих воевавших родственников, придирчиво расспрашивают о прошлом, выясняют разные детали и оценки.

В нескольких шагах от нашей 1-й гвард. армии я увидел трех

девушек. Неброско и со вкусом одетые, они тихо переговаривались, комментируя происходившее. На милых лицах мысль и интеллигентность. Умные глаза. Само собою, красота, молодость и стать. Не помню как, но так или иначе завязалась беседа, в которой, несколько минут спустя принял участие и я. Под легким хмельком я сказал: «Если бы я был лет на сто моложе, как бы я за вами ухлестывал!» Сказал и испугался. Во-первых, почувствовал некоторую фривольность, если не сказать, пошлость, своей фразы. Во-вторых, по нынешним временам могли последовать, например, такие ответы: «Ну, дед, ты даешь!» или «Ты, дед, прикольный, в натуре!»

Ничего подобного не случилось. Ответ был быстр и точен: «А мы бы с удовольствием приняли Ваши ухаживания». Разумеется, это было сказано не мне, старому грибу, лично, а моему поколению, чем было признано его нравственное превосходство над всеми последовавшими. При этом вполне сознательно был отсечен, как несущественный, тот самый оттенок пошлости, который меня напугал.

Я уверен, что в сгорбленном, седом и морщинистом старичье эти девушки увидели тех нас молодых, которые были движимы в первую очередь своим, может быть, и неосознанным, мужским бескорыстным долгом защитников. Кроме того, мгновенная реакция девушек на мои слова, настоящий русский язык, правильность речи, тон и естественная, я бы сказал, светскость их поведения, — все это свидетельствовало об их воспитании и культуре. Прошло уже столько времени, а я с благодарностью вспоминаю тот случай, вижу лица тех девушек и слышу их голоса.

Но вижу и слышу я и значительно более раннее. Я помню свое детство, которое проходило на фоне героики, романтики и самоотверженности. В мои 10–12 лет была и челюскинская эпопея, и Гражданская война в Испании, когда мы все ходили в шапочках-«испанках», и замечательные перелеты через Северный полюс. Во всем этом было столько привлекательности, смелости и благородства!.. Объездив вместе с моим отцом на его служебном «газике» все строившиеся дороги Подмосковья от Клина до Серпухова и от Можайска до Коломны, с их асфальтовыми базами и участками, асфальтосмесителями и катками, каменными и песчаными карьерами, рабочими столовыми в огромных брезентовых палатках, увидев и почувствовав напряженный ритм огромной стройки, я с гордостью присоединял жизнь отца и всей нашей семьи к делам страны. Однажды дождливою летнею ночью я проснулся и увидел, как отец и мама стояли у открытого окна и напряженно всматривались в несущиеся по небу тучи, не

появится ли в них просвет: это будет признаком вероятного прекращения дождя, что даст возможность выполнять план укладки асфальта. Дело в том, что, не в пример нынешним дорожным работам, в те времена асфальтирование воспринималось как священнодействие, и укладка асфальта в дождь — считалась кощунством.

Думали ли мои родители, что за эту бескорыстную и горячую преданность делу строительства отец вскоре получит пулю в затылок, а маму упекут на восемь лет в концлагерь!?

И когда даже люди, которых никак не причислишь к жрецам революции, искренне говорят, что Маяковский был искренним романтиком революции, то я этому верю и верю тоже искренне. И если именно от этой искренности Маяковский погиб, разбившись о стену революционного цинизма, то я скорблю об этом.

Каким-то образом то время ассоциируется у меня с песней на стихи Иосифа Уткина:

Были два друга в нашем полку,
Пой песню, пой,
Если один из них грустил,
Смеялся и пел другой.
И ссорились часто наши друзья,
Пой песню, пой,
Если один говорил из них «да»,
«Нет», — говорил другой.
Однажды их вызвал к себе командир,
Пой песню, пой,
«На Север поедет из вас один,
На Дальний восток — другой».
Друзья усмехнулись: «Ну, что за пустяк!»
Пой песню, пой,
«Ты мне надоел», сказал один
«И ты мне», — сказал другой.
А северный ветер кричал: «Крепись!!!»
Пой песню, пой,
Один из них вытер слезу рукавом,
Ладонью смахнул другой.

Ведь именно с этим перекликаются слова К. Симонова: «Где настоящие друзья, там дружба не видна». Эти искренние отношения, верность, доверие и преданность… Они так свойственны были тем поколениям. И как они гармонировали с

передовыми идеями справедливости, готовностью к самопожертвованию, с мужественностью, рыцарством.

Я видел это вокруг себя и среди друзей и сослуживцев моего отца. И в какое русло подлости и предательства было канализировано все богатство человеческих чувств… Изъедено доносами, клеветой, ложью и наветами. Все это совершил сталинский «гений». Носители благородства были поглощены лагерями и застенками, а затем — уничтожены. Я скорблю о них.

Близка ли песня И. Уткина последующим поколениям? Несомненно. Но у разных поколений она вызывала разные ассоциации. У меня — незамутненность преданности, верности и романтики. Как мне не хочется расставаться с нею.

XIV. Заключение

Я заканчиваю эти записки. Они — сотая доля того, что я мог бы написать еще. Но моя основная работа[39] оставляет мне мало времени для продолжения записок. Я могу сказать только следующее. Я не подгонял свое повествование ни под какой шаблон, не следовал никакой моде или тенденции. Писал о том, что знал и сам видел, что сам делал. Ни слова неправды. Сообщая о неудачах, да и просто о катастрофах, на каком бы уровне ни гнездились их причины, я уверен, что ничего не «очерняю» и не «охаиваю». Рассказывая о победах, ничего и никого не обеляю. Не скрывая презрения к Ткачуку и Гоняеву, я с признательностью вспоминаю многих других конкретных людей, которые повстречались мне на войне, вспоминаю подчас с восхищением. Я их люблю.

Я не скрываю своего отношения к Сталину и снисхожу к проклятиям сталинистов. Войну мы выиграли не благодаря «гению всех времен и народов», а вопреки ему. Вот уж кто очернил нашу историю!.. Поразительно только, что с уже не раз попранными честью и нравственностью готовы не задумываясь расправиться еще раз. И все ради того, чтобы полнее насладиться ощущением, как убийца благославляет из могилы. Но при ближайшем рассмотрении все оказывается до боли просто. Приверженцы сталинизма демонстрируют готовность и желание ценой убийства безвинных умножить свое благополучие и возможность властвовать над ближними. А прятать преступления Сталина за феноменом якобы «спасения России» — это безнадежное занятие. Просталинские заклинания шиты белыми нитками. Миром управляют не идеи, а интересы.

Каким я помню и вижу собирательный облик дорогого мне однополчанина? Бравый подтянутый офицер с гладко выбритым лицом, спрыснутым шипром, в предвкушении принятия награды, сопровождаемой рюмкой — эти внешние симпатичные признаки далеко не исчерпывают офицерской сути. Пехотный офицер — заботливый трудяга, отвечающий за все, все понимающий, смельчак, личный пример которого — непререкаем. Это и пахнущие потом портянки на сбитых сильных мужских ступнях. Это и нажитая боевым опытом мудрость, которая во сто крат шире боевого устава пехоты.

С другой стороны, портрет воина-фронтовика не исчерпывается простуженным голосом, небритым лицом, красными от недосыпания слезящимися глазами и чернотой под ногтями на руках, сжимающих саперную лопату. И, разумеется,

жизнь фронтовика — это отнюдь не только невыразимые внутренние страдания. Но часто она выражается и внутренним удовлетворением, и гордостью, и успокоением после удачного боя, когда, ощутив себя живым, можно расслабиться, передохнуть и поесть, да и пропустить несколько живительных глотков.

Я знаю, что такое голод, холод, страх смерти и нечеловеческое физическое напряжение готовых лопнуть жил. Но я вынес все это и выжил. А потому я не был бы достоин самого себя, если бы жалость к себе была лейтмотивом моих воспоминаний о войне. При всем при том, оглядываясь назад, я с сожалением сознаю, что мог бы и воевать и вести себя лучше, чем это было на самом деле.

А впрочем, почему я думаю, что размышления старика могут кому-то понадобиться. Надежда на то, что ближайшее будущее окажется результатом прямой экстраполяции прошлого и настоящего, весьма иллюзорна. Если бы это было не так, то предсказания сбывались бы. Однако чаще всего повороты бытия неожиданны и внезапны. Я все более убеждаюсь в том, что современная жизненная норма во многом мне чужда и отталкивающа. А вдруг именно то, что мне чуждо, как раз и есть истина (которая, черт побери, всегда конкретна!)… Кто рассудит? Но я такой истины не принимаю.

До чего же картинная концовка. Какая категоричность, пафос и драматичность. Поневоле вспомнишь Базарова: «Друг Аркадий, не говори красиво». Ну и что с того, что ты этого не принимаешь? И почему я вроде бы и не настаиваю на своей же резкой оценке?

В сентябре 44 года я следовал в направлении от Моршанска на 4-й Украинский фронт. Я сознавал себя офицером. Шутка ли, мне присвоено звание младший лейтенант! Более того, в отличие от многих и многих моих спутников у меня уже есть приличный боевой опыт и ранение. Ни тени пессимизма и страха. Я еду побеждать. Я молод и даже доволен собой. Трагедия семьи отодвинута на второй план. Хотя я сознаю масштаб истребления людей, почти похоронивший гуманистическую составляющую жизни всего человечества. И вот оказывается, что другой человек, сорокалетний, а не двадцатилетний, как я, в то же самое время воспринимает действительность, в которой мы оба существуем, совсем по-иному.

Крупный ученый и общественный деятель, доктор филологии, профессор. Несмотря на ограниченную подвижность, связанную с болезнью ног, ведет активный образ жизни и выполняет не только профессиональные обязанности, но участвует во многих акциях, свойственных последней военной осени.

Приведу цитату из сентябрьской дневниковой записи этого

человека. Дневник публикуется в журнале «Знамя». В составе пропагандистской группы ЦК автор записи летал в Минск после его освобождения летом 44-го.

«…Главное — поездка по району: печь, где немцы сжигали трупы, груды вещей расстрелянных, обнесенный колючей проволокой лагерь — пустырь с изоляторами на столбах (ток), поле, где похоронено 220000 человек, траншеи с человеческим пеплом (крупный, светло-серый, много мелких костей). В траве валяются вставная челюсть, носовые платки.

Лес, где наши самолеты громили окруженных немцев, — всюду разбитые танки, пушки, машины, ракеты, снаряды. Трупы лошадей, до сих пор не закопанные немцы. Они уже истлели, но местами — еще сильный запах гниения. Большой лес заполнен этими остатками уничтоженной армии. Рассказы партизан о сражениях, расстрелах, убийствах, пытках».

Вот что увидел и услышал в Белоруссии автор дневника. И вот что следует сразу после этой записи.

> «Некуда уйти: вера в бога — интеллектуальное убежище кретинов. Вера в культуру и прогресс, но они-то и довели до всего этого. Вера в себя — миллионы таких же гибли в самых жестоких страданиях. Не остается ничего, кроме цинизма, фатализма, пустой инерции жизни. Кто найдется, чтобы сказать о новых моральных ценностях после этой войны. Она убила людей внутренне».

Можно понять отчаяние человека. Психологическая, возрастная усталость. Минутная слабость. Эмоциональный срыв. И ведь мы знаем, что отнюдь не все исчерпалось цинизмом, не исчезла вера ни в бога, ни в себя. Ни в культуру. Так или иначе, но все было преодолено.

Вглядываясь и в себя тогдашнего, и в автора дневниковых записей, прожив с тех пор 60 лет, я могу сказать только одно: даже при крайне критической оценке явлений жизни следует воздерживаться от категорических прогнозов и пророчеств.

Упаси боже, это не поучение, это попытка защититься от окончательного расставания с надеждой.

notes

Примечания

1

Через тернии к звездам (лат.).

2

Не хотелось бы приводить расшифровку, противно, но что поделаешь… ЧСИР — это член семьи изменника родины. Так назывался ни в чем не повинный совершеннолетний родственник, проживавший вместе с самим «изменником», который также был ни в чем не виновен.

3

С зажигательной смесью.

4

Пистолет-пулемет Шпагина, скорострельное надежное стрелковое оружие, на смену которому уже после войны пришел автомат Калашникова.

5

Почтальон встретил мою тетю на улице и вручил ей похоронку. Похоронка была спрятана, и никто о ней не знал. Месяцем позже тот же почтальон на той же улице отдал моей тете письмо из госпиталя. С криками «Жив, жив, жив!» тетя (которая была только на десять лет старше меня) опрометью помчалась домой. Бабушка, ничего не знавшая о похоронке, не понимая, что происходит, уставившись на кричащую дочь и вытаращив глаза, медленно двинулась ей навстречу, споткнулась, упала и сломала руку.

6

Пятьдесят четыре года спустя меня пригласили оппонентом на защиту докторской диссертации в Пензенский политехнический институт. Должен признаться, что я принял приглашение в немалой степени от того, что мне предстояло по дороге проехать мимо станции Башмаково. В трехстах метрах от перрона находилась вытянувшаяся вдоль путей двухэтажная школа, в которой располагался мой госпиталь. Проходившие мимо поезда были тогда для нас, «ранбольных», как принято было называть население госпиталей, важным развлечением. И вот морозной ночью в конце декабря 1997 года поезд Москва-Пенза остановился на две минуты на ст. Башмаково. Уже на стоянке, прижавшись к стеклу окна вагона, можно было разглядеть впереди длинное белое здание, освещенное пристанционными огнями. А потом поезд тронулся и, не успев набрать хода, устроил мне свидание с частичкой юности. В одном окне школы горел свет. То же самое было и на обратном пути, когда поезд медленно подходил к станции.

7

Впрочем, звания майора и подполковника я получил, находясь в запасе, а ушел я из армии капитаном. При этом чувствую я себя лейтенантом. Мне по душе кем-то высказанное утверждение: «Войну выиграли лейтенанты-десятиклассники», хотя я вынужден в этом усомниться. Вообще, люди моего возраста вступили в бой под прикрытием целого года войны, под прикрытием тех, кто был подставлен под якобы внезапный удар жуткой силы, кто встретил врага своей грудью в начале войны.

8

Напрашивается пугающий, скорее, каламбур, чем парадокс. Мертвое пространство спасает жизнь, и даже незначительный выход из него — путь к смерти.

9

Летом 1943 года в госпитале в Башмакове Пензенской области моим соседом по палате был человек, которому пуля попала в переносицу и прошла навылет, не задев жизненно важных центров.

10

До начала зимнего наступления начальником штаба полка был майор Борзиков, которого с фронта отозвали в военную академию.

Ясно, что по-русски это название звучит, как Приварувка, и означает «приварок», придаток, примыкающий к основному населенному пункту. Интересно, что одна из жительниц этой деревушки в разговорах с нами произносила именно «Приварувка», подчеркивая этим, что она стремится облегчить понимание (якобы) незнакомой нам речи

12

Так как не попавший нам в руки фриц абсолютно гипотетичен, и более того, не известно, существовал ли он, я вспоминаю один анекдот такой же логической структуры. Надпись на кладбищенской плите гласит: «Под этой плитой никто не лежит, так как его отец всегда пользовался изделиями нашей фабрики». Еще несколько лет тому назад я бы не в любой компании решился рассказать этот анекдот. Теперь же я его пишу черным по белому, ни капли не стесняясь. По сравнению с тем, что мы видим и слышим вокруг и в своем собственном доме по радио и телевидению, этот анекдот — невинный лепет годовалого ребенка.

13

Рифма на «ню» именно, без мягкого знака.

Кстати, тогда не было солдат, а были бойцы или красноармейцы. Солдаты появились лишь после войны, когда вышел новый Устав внутренней службы.

15

Правда, доступным для меня это стихотворение стало много лет спустя…

16

В полевом госпитале на ст. Тарасовка у одного из нашей палаты начался столбняк. Я видел, как с каждым часом он все труднее разжимал челюсти, и даже горошина не могла пройти в рот. Его эвакуировали самолетом (кукурузником).

17

Через пять лет он дал флегмону, и тогда его удалили.

18

Прошу не проводить аналогии с анекдотом: «Маша, ты слышала, сейчас снова модно быть девушкой». — «Ну, знаешь, за модой не угонишься».

19

Но есть и еще одно обстоятельство, не позволявшее нам подражать рассказчику романа Э. Ремарка «На западном фронте без перемен» и его приятелю Кату. С трудом и невероятным шумом украсть одного из двух гусей, предварительно промахнувшись из револьвера в дога… Не профессионально! Как-никак, а мы могли и без огня, втихую украсть, что там гуся — человека. Правда, если Дьяченко (без бороды) не наставит на нашей тропе мин.

Это суждение потом в литературе варьировалось по-разному. У Л. Лазарева (в «Знамени» № 7, 2003, стр. 129) оно выглядит так: «Дальше фронта не пошлют, больше роты не дадут». На мой взгляд такое суждение лишено логики, так как наряду с готовностью и покорностью оказаться в самом опасном месте одновременно носит оттенок претензий: хочется, дескать, больше роты, да не дадут. У А. Т. Твардовскго Теркин говорит: «Дальше фронта не пошлют и с земли не сгонят». Это сильнее, оба исхода — по минимуму преимуществ. Правда, Теркин был сержантом, и ему о взводе вообще не полагалось мечтать, хотя командиров взводов-сержантов было сколько угодно.

21

В журнале «Знамя», № 5, 2003, Ольга Грабарь на стр. 108 с некоторой, как мне кажется, отстраненностью пишет: «Стремление непременно вернуться в свою часть проявляли многие, хотя объяснить его толком не могли». Как будто такое стремление обязательно требует объяснения. А если не можешь (да и надо ли) объяснить это стремление, то что тогда, оно и не обоснованно? Уверен, что именно потому, что я вернулся в свой полк, даже в самый первый момент выполнения самого первого после возвращения из госпиталя приказа командира полка, т. е.с места в карьер, я чувствовал себя совершенно в своей тарелке. И это состояние заведомо преобладало над опасностью.

22

Это юркие и сильные автомобили грузоподъемностью в 3/4 тонны. В данном случае они выполняли функции скоростных тягачей для противотанковых пушек.

23

Чудны дела твои, господи. Во-первых, фронтовиков теперь называют «участниками» войны, и из них, что правильно, выделяют «инвалидов войны». Но последних можно бы выделять также из фронтовиков, а не из «участников». Во-вторых, когда категорий участников, инвалидов и тружеников тыла стало не хватать, учредили новую категорию: «ветераны войны», в которую участники и инвалиды не вошли. Таким образом, по воле чьей-то «умной» головы, фронтовики ветеранами войны не считаются.

24

Почти у каждого командира было свое фирменное высказывание, своеобразный шик. Например, генерал Н. Г. Лященко чуть ли не каждую фразу заканчивал словами «туточки, пожалуйста Вам». Генерал Кириллов при абсолютно грамотной речи, вместо «каждый» говорил только «кожин»; а еще один генерал-танкист помещал предлог «для» не иначе, как в конце предложения. Один ротный свои ежедневные намерения укрепить воинскую дисциплину выражал фразой: «Вот брошу пить — я за вас возьмусь».

Хотя была, например, эпопея с прочеcкой пустынных территорий Пруссии, защитой от нападений репарационных коровьих гуртов, следовавших из Германии в Россию.

26

Одним преимуществом, когда Ткачук вел роту, я безусловно пользовался: запевала освобождался от тяжеленной матчасти — станка или тела пулемета. Весь пулемет вместе со щитом весил 66 кг.

27

В выражениях «осужден по первому разряду» и «окончил училище по первому разряду» номер разряда имеет разные значения. В первом случае он означает расстрел, а во втором — высший успех.

28

Имею ли я право судить, кто из таких же, как я, хорош или плох. Вступавшим в партию во время войны карьеристские мотивы их партийности были чужды, они были безусловно честны и самоотверженны. Позже, в семидесятые годы, получил хождение анекдот в виде вопроса-ответа: «Кто такой порядочный человек? Это тот, кто не совершает подлых поступков по собственной инициативе». Я знал очень много членов партии, которые не совершали таких поступков ни по чьей инициативе.

29

Том 5 (АП РФ, оп. 24, дело 413) лист 258.

30

Там же, лист 255.

На самом деле значительно больше. Первоначально эта цифра рассчитывалась по книгам памяти. Однако многие фамилии, содержащиеся в сталинских расстрельных списках, в книги память не вошли.

А другой скажет: «Ну что ты дурью мучаешься, хватит рефлектировать, пора все это забыть» Тоже будет правильно.

См. журнал «Военная мысль», 1954 г.,№ 3.

34

Но вот нтересная деталь! Оказалось, незаменимые все-таки были. Это, во-первых, уцелевшие в лагерях военачальники. Кгда в начале войны припекло, их выпустили и наделили большими командными правами. Еще один эпизод известен мне из маминой эпопеи. Когда наши войска начали освобождать Польшу, и было организовано первое польское правительство в г. Люблине, понадобились надежные кадры. Такие кадры хранились, как золотой резерв, в частности, в лагере под Архангельском. Это были мамины лагерные подруги Ядвига Секерская и Целина Тышкевич (м.б., Щишкевич). Их имена назвала известная писательница Ванда Василевская. Последовало срочное освобождение из лагеря и отправка в Барвиху на двухмесячное лечение. Затем эти женщины поехали строить новую Польшу. Я. Секерская впоследствии стала депутатом польского Сейма и однажды в середине прошлого века приезжала в Москву. Солагерницы встречались: Леля Пвловская, Леночка Шумская и Нина Николаевна Любич (так их звала мама, а с Ниной Николаевной мама работала в одной мастерской в г. Александрове, более 100 км. от Москвы, куда мама перебралась из Архангельска и где разрешалось жить меченым). Какой цинизм! Объявить врагами, мучить, и будучи уверенными в невиновности жертв, освободить их, когда понадобилось, и послать на ответственную работу. Какой извращенный вкус: ценный резерв хранить в тюрьме! У Нины Николаевны судьба сложилась трагически и после реабилитации. Ее сестра не могла простить ей, что она вышла замуж за еврея. В этом же духе она воспитала и оставшуюся без попечения родителей дочку Нины Николавны, свою племянницу. Та демонстративно и злобно отвернулась и от матери, и от родственников со стороны отца. А отец — в одном раасстрельном списке с моим отцом. Об этом поразительном обстоятельстве ни мама, ни Нина Николаевна ничего не знали, ибо тогда расстрельные списки не были рассекречены. Представляю себе их изумление — удар молнии — узнай они, что незнакомые друг с другом их мужья оказались под одной резолюцией вождя «За (расстрел)», расстреляны с разницей в один день, а затем и их обеих свела судьба вместе в Александрове в мастерской по росписи тканей…Интересно отметить, что Я. Секерскую первоначально в августе 1937 г. «представили» к расстрелу (А. П. РФ, т. 2, оп. 24, дело 110, лист 310), но потом в декабре того же года заменили расстрел десятью годами лишения свободы (. А. П. РФ, т. 5, оп. 24, дело 413, лист

264). Память возвращается к событиям, следующим цепочкой одно за другим. Читатель помнит, что мой отец был осужден и расстрелян 9 декабря 1937 г. В членах ВКВС (Военная коллегия верховного суда) состоял бригвоенюрист Я. Я. Рутман. Из архивных документов следует, что бригвоенюриста арестовали 10 декабря, т. е. на следующий день после того, как он проштамповал своей подписью расстрельный приговор моему отцу. Расстреляли Я. Я. Рутмана 28 августа 1938 г. за «контрреволюционную и террористическую деятельность». Л. С. Любича «судили» в день ареста Я. Я. Рутмана. Интересно, успел ли Рутман осудить также и Любича, или, быть может, его «выдернули» в тот самый момент, когда свою подпись под приговором он исполнил только до середины? Впоследствии Рутмана реабилитировали. Из этого следует, что ВКВС рассматривалась как ничего не стоющая формальная инстанция, обязанная беспрекословно следовать резолюции «За».

Сначала придаточное предложение в этой фразе звучало скромнее, а именно: «…в общественном устройстве которых социалистические отношения, если и не преобладают, то прочно вплелись в ткань всей жизни». Но вскоре в переданной по радио России беседе русский художник Владимир Любаров, язык которого отличался сочностью, образностью и отсутствием каких бы то ни было признаков стандартной канцелярской жвачки, утверждал как-раз, что в таких странах, как Германия или Швейцария, — настоящий социализм, которого у нас и не было. А восхищение шведским социализмом он выразил словом «сумасшедший», произнесенным с такой восторженной интонацией, что ему я и последовал.

36

Не боясь вступить в противоречие с самим собой, должен сказать однако, что истинное представление о войне, понимание глубины и остроты ее трагедии, понимание сопровождающих ее страданий, незаживающая боль потерь — доступны разве что тем, кто все это перенес сам. Потому то, как удивительно верно заметила одна моя очень интересная и на редкость тонко и точно мыслящая собеседница, фронтовики между собой молчат. И только скупой вопрос и такой же лаконичный ответ можно услышать от них, когда они пытаются уточнить географическое место, быть может, общих боев и время, когда могли оказаться на одном участке фронта. А если таких совпадений не было, ну так и не было. Проникнуть сквозь завесу такого молчание может только тот, кто сам смотрел смерти в лицо. Ибо только такой момент в жизни оставлял в душе неизгладимый след. Настолько неизгладимый, что разглядеть его невооруженным взглядом непосвященного — невозможно. Фронтовики понимают друг друга молча, дети фронтовиков не поймут их, сколь бы отцы ни были красноречивы.

37

Между прочим, «я на войне» — это не только обобщающая, быть может даже несколько более выразительная, краткая характеристика. Это еще и курьезные воспоминания, связанные с войной. Ее, так сказать, отдаленные последствия. В сентябре 1970 г. я в составе группы сотрудников нашего института был в Мюнхене на конгрессе. В один из дней у меня образовалось свободное время, и я отправился к месту фашистских сборищ, Хофбройхаузу на «экскурсию». Возле киоска с сувенирами я увидел на вертушке открытку с изображением фестзала и попросил хозяина киоска показать мне, где находилось кресло Гитлера. Хозяин был весьма любезен. Пожилой здоровяк со щетиной под цвет щек, он стал говорить, что фотография сделана именно с того места, где обычно сидел Гитлер, и что именно поэтому самого гитлеровского кресла увидеть нельзя. Вдруг он резко оборвал свой рассказ и с оттенком подозрения спросил, почему я интересуюсь гитлеровским креслом, кто я такой и откуда. Я сказал, что из Москвы. В ответ: «Ich glaube nicht Ihnen!» Я показываю свой паспорт. Да, действительно… «Ich war in Russland, Wolchov! Und Ich habe ein Stuck…»- показывает на бедро. «Und Ich war in Deutschland» — отвечаю я. «In Arme-e-e?!» — изумляется он. «Ja, Ja, Und Ich habe ein Stuck auch» — показываю я на свое бедро. Лицо моего собеседника оживилось, глаза заблестели, во всей фигуре обозначилась решимость. Закрывает киоск и…. ведет меня на экскурсию по Хофбройхаузу, а потом дарит мне упомянутую открытку. Второй комичный эпизод случился в предместьи Цюриха ранней весной 1978 г., т. е. через тридцать три года после войны. Поднимаясь по довольно крутому склону в направлении нового комплекса Высшей технической школы, я поймал себя на том, что шаг мой стал пружинистым, и я слегка пригнулся, подавшись вперед. В чем дело? А в том, что по мере моего подъема над небольшим холмом стала вырастать крыша с характерными для немецких деревенских построек очертаниями. Приглушенный временем рефлекс сработал мгновенно.

38

Вдохновенным племенем Ф. Искандер называет шестидесятников.

39

Чуть было не написал — деятельность. Однажды в Совете ветеранов 1-й гвард. армии меня пригласили написать пару страниц в сборник «Автографы победителей». Там вместо моих слов: «…Меня назначили командиром взвода пешей разведки», было напечатано: «Я возглавил взвод пешей разведки». До сих пор краснею, когда вспоминаю про это. По-моему, даже маршал Жуков не говорил, что он «возглавил» фронт.